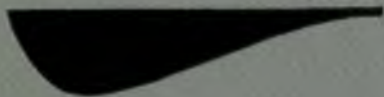


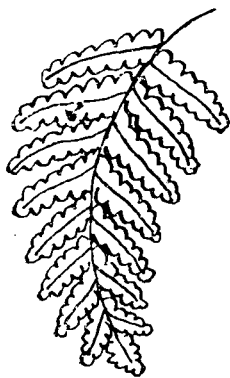
PC
Д 30
623410

ВАЛЕРИЙ ДЕМЕНТЬЕВ

**С Д А С -
К А М Е Н Ь**







ВАЛЕРИЙ ДЕМЕНТЬЕВ

СПАС-
КАМЕНЬ



Г2
Д30

Художник
И. А. ОГУРЦОВ

7-3-2
122-68



ЗЕМЛЯ
ЗАВОЛОЦКАЯ

ЗЕМЛЯ ЗАВОЛОЦКАЯ



В старину Вологодчину звали землей Заволоцкой — так в летописях именовался край лесной, нехоженный, край за волоками. Даже новгородские ушкуйники, народ лихой и отпетый, иногда страшились опасностей далекого пути, остерегались забираться за волока в верховьях безымянных речек. Одну из таких речек, по преданию, они

прозвали Волокдой: мол, будет за Белоозером волок да волок, да еще волок и будет река Волокда.

А за Волокдой еще и еще волока, а уж за теми волоками — сам великий Пермский камень-Урал. Там, по слухам, золото лежит россыпью в борах, изумруды можно собирать горстями, как клюкву на кочках, а рухлядью — пушшиной ценной, редкостной — битком набиты охотничьи займки.

И рубили новгородцы просеки, впрягались в веревочные лямки, переволакивали по каткам остроносые суденышки, плыли дальше, вглядываясь в каждый речной поворот, нетерпеливо ожидая, когда же вознесется до небес лесистая громада Пермского камня. Иные так и не добирались до каменной гряды, оваянной легендами, оседали по берегам северных рек, брали в жены девушек-зырянок, обжиwali новые места.

Но жила в их потомках тяга к землям неведомым. Но

случайно на карте современной Сибири можно встретить имена северян землепроходцев: первым в их ряду значится устюжанин Ерофей Павлович Хабаров. Не случайно в прошлом веке, когда нужда да беда гнали крестьян по всей Руси, заметил великий крестьянский поэт среди прочего мастерового люда на Волге «копателей канав — вологжан». Не случайно бывали в северных деревнях песни про чужбину-разлучицу, чужбину-печаль, которая уводила молодых парней и мужиков в чужедальнюю стороношку.

Мой дед по отцу, Александр Александрович, смолоду вдосталь познал этой самой печали, исколесив землекопом едва ли не пол-России. Но как бы далеко ни забрасывала его судьба, неизменно он возвращался на родину. Не было для него краше Кубенского озера, не было краше деревни Каргачево, где и мне довелось родиться в свой срок.

С тех пор как закончилась Отечественная война, я не раз торил нутти-дороги моих предков-северян: довелось мне побывать на севере и на юге, плавать по Амуру, Лене, Дунаю, летать в Хабаровск. Но все-таки я считаю лето потерянным, если не отдал поклон земле Заволоцкой. А ведь сейчас, казалось бы, все края свои, родные, и в деревнях разве одни старухи вспомнят запевки про горе — горькую чужбину. Да, по правде говоря, мало нынче ноют частушек в северных деревнях — все больше по окраинам больших городов, все больше в районах новостроек...

Зато в юности я их наслушался вдоволь. На летние каникулы я почти всегда приезжал в родную деревню, и хотя русский север по праву славится былинами, протяжными плачами, свадебными обрядами, — я не слышал их от своих земляков: время было другое, и только частушки да новые песни звенели далеко за деревенской околицей. Да еще живы были в народе преданья о местах хоженных-перехоженных, виданных-перевиданных.

Особенно памятно мне предание с Спас-Камне. Бытует оно по берегам Кубенского озера, которое голубым ятаганом вытянулось километром на семьдесят. Откуда бы вы ни плыли по озеру — вы долго будете видеть крохотный островок с полуразрушенной колокольней. Это — Спас-Камень.

По рассказам стариков в глубокой древности потерял здесь один новгородский князь дружищу. Прижатый врагами к воде, он бросился вплавь, но разыгралась на озере буря, и князь стал тонуть в холодных волнах. Тогда он взмолился о спасении — и тут произошло чудо. Внезап-

но под ногами князь ощутил каменное дно, которое все подымалось и нодымалось, пока не стало островком в безбрежной водной пустыне. «Камень спас!» — воскликнул пораженный новгородец.

Так и зовут теперь этот остров Спас-Камнем. Столетия оправдывает он свое название, спасая рыбаков, застигнутых на озере «сиверком». Поколения кубеноозеров слышат это предание, передаваемое из уст в уста.

Подобные поэтические легенды и сказки имели над моей душой неизъяснимую власть. Мне хотелось верить в чудесное спасение храброго князя, верить, что сказка эта была былью, что если и меня застигнет на озере вспененная волна, то может произойти такое же чудо.

Только позднее я понял: чудо не в спасении князя, чудо — в самоценной красоте народной фантазии. Чудо — в поэтическом перевоплощении мира, заново открываемого тобою: так в детстве ты впервые познаешь сладость лесной земляники и жгучий холодок колодезной воды, солоноватый вкус материнских слез и невесомый полет осенней снежинки. Только позднее я понял и другое: многовековые пласты нашей национальной культуры — вот коренная порода, на которой основывается духовная жизнь каждого из нас, вот Спас-Камень, который дает тебе опору в минуты невзгоды, делает тебя сильнее, прозорливее, чище, позволяет заглянуть в туманную даль времен. Этот мир искусства, поэзии, красоты — моя родина.

Вот почему я с особым пристрастием читаю книги поэтов, родившихся на севере, стремлюсь постигнуть красоту северных сказаний и песен, таинства деревянного зодчества, иконографии, шемогодской резьбы по бересте, великоустюгской черни по серебру — всех тех народных ремесел и искусств, которые, к счастью, стали возрождаться в последние годы.

Вот почему малейший толчок — стенная ли роспись, картина ли, отдельное ли стихотворение, а может, просто письмо из деревни — заставляет учащенное биться мое сердце.



Соборная, или Красная горка — едва ли не самый высокий обрыв над Вологодой-рекой. Знали наши предки с сыромятными ремешками на лбу (чтобы волосы не падали на потное лицо), в домотканых портах и рубахах, где рубить посреди «Великого леса» первый «детинец», обносить его бревенчатым частоколом. Налево — за речным

поворотом, за россыпью деревянных домиков, дальше к горизонту чуть угадываются башни старинного Прилуцкого монастыря. Прямо — Заречье: лодочная станция, старые березы, тусклые купола церквушек, дома с крытыми галереями и пышной деревянной резьбой. Направо — гранитные устои моста, улица Чернышевского... Память подсказывает, что вниз по течению, за пристанью, пойдут корпуса «Северного коммунара», пирамиды песка, склады, мастерские, ржавые остовы отплававших свой век пароходов и буксиров, штабеля леса — и так почти до самых кирпичных заводов.

Что и говорить, вольготно раскинулась Вологда по берегам немногочисленной северной реки. Тихие провинциальные переулки, старинные особнячки с облупившимися деревянными колоннами уступают место асфальтированным проспектам, новостройкам, новым скверам с молоденькими тополями и березками. Побывавший в этом «домотканом деревянном городке» в первые дни войны столичный поэт, теперь лишь на окраинах нашел бы «гармоники» дощатых тротуаров. И все-таки нет, по-моему, лучше места в Вологде, чем этот речной крутояр. Особенно весной, в половодье! Свежий ветер пообсушил прошлогоднюю траву, — темнеет на обочинах тропинок апрельская зелень. Березы, которые в дни нашей молодости были тоненькими подростками, поблескивают оттаявшей глянцевою корою. Пройдет еще неделя, и однажды в ночи выстрелят в пред-рассветный сумрак крохотные резные листики — и словно прозрачная зеленоватая дымка поплывет над берегом, над домами, над высокой горкой парка. А пока под обрывом

лежат крупчатые заносы снега, пахнет оттаявшей землей, шуршит ледяная мелочь, крутит мутные воронки весеннее половодье. Позреватые глыбы льда то становятся стоймя, то, громоздясь, наползают друг на друга, и кажется, что это берег плывет вверх, туда, к прозрачным, подрагивающим в солнечном мареве далям. Не тяжелые, низко сидящие в воде льдины, не разбитая плоскодонка, не старые доски и не ледяная плита с прорубью, обсаженной полуосыпавшимися елками, стремительно проносятся у твоих ног — а ты, вместе с берегом, с белыми, голубоватыми от тени стенами Софийского собора плывешь и плывешь вверх, за поворот, к красноватым прилуцким башням. От воздуха, от солнца, от запаха талого снега чуть кружится голова. Подмывает тебя крикнуть что-то в это высокое, окропленное теплыми лучами солнца небо, читать стихи. Ну хотя бы вот эти:

О ледоход!
Штурмуй пролет моста!
Мне по сердцу твоя неукротимость,
Напористость твоя
И прямота!

Стихи эти из вологодского альманаха, что у тебя под рукой... Бывает иногда такое в теплые апрельские дни: ты с утра без цели пускаешься бродить по городу. В полутемных — после ослепительного солнца — магазинах шумно и многолюдно. Ты заходишь в них просто так, чтобы побыть среди людей, чтобы ощутить весну всюду — в громоздких шубах и платках, в оживленных репликах, в резком контрасте между запахом парящего асфальта и мокрыми опилками, которыми посыпаны полы магазинов. И если ты по натуре книголюб, то непременно, походя, заглянешь и в книжную лавку. Здесь тихо. Немногие покупатели переговариваются вполголоса. Книжные полки до потолка уставлены солидными томами. Но у тебя сегодня нет никаких определенных намерений. Ты зашел сюда, чтобы взять, что подвернется под руку. Ну, хотя бы старый номер альманаха «Литературная Вологда». А почему бы и нет? Так, прихватив альманах и еще несколько случайно выбранных книг, ты выходишь снова в солнце, в голубизну неба, в шумную уличную толчею. Весна выносит тебя на берег реки, к Софийскому собору, к ветру, к половодью.

...Там, на заречном берегу, видно, как отдельные льдины вытолкало к деревянным заборам, где они теперь и будут лежать до середины мая. Мальчишки станут обивать их крошащиеся на тонкие лезвия бока, шоферы нещадно

ругать раскисшую возле них дорогу, пока солнце не растопит их и не сотрет с берега. Но еще несколько дней будет темнеть грязное пятно среди молодой, буйно пошедшей в рост травы.

...Вот так и жизнь. Она необратима:
На кочку сел — и все прочтится мимо...
О ледоход!
Штурмуй пролет моста!
Мне по сердцу твоя неукротимость.
Напористость твоя
И прямота!

...Все-таки хорошо здесь, на Красной горке. Но почему, собственно говоря, на Красной, а не на Соборной?

Когда-то здесь, у архиерейского подворья, в соборах проходили пышные богослужения. Толпы богомольцев и нищих из голодных вологодских волостей стекались сюда в праздничные дни. Поодаль Соборной горки стояли мелочные лавчонки, балаганы, царевы кабаки. Голосили слепцы, вскрикивали юродивые, качалась пьяная, забитая, темная мужицкая деревня. Городские обыватели ковыряли склоны, надеясь найти клады, якобы захороненные жителями во время польско-литовского нашествия («панщины», как говорили в народе), ползли темные слухи «об адовой горе», где в камешных подземельях по ночам слышатся вой и стегания. Замшелые, подслеповатые избы лепились по краям горки. Проулки были так тесны, что бабы могли передавать друг другу горшки на ухвате. И все это вековое, отсталое, невежественное называлось Соборной горкой, неоднократно поминаемой в церковных описаниях «святых» мест. А название Красная горка хорошо не только своим созвучием с нашим временем, взвившим алый стяг над потрясенной колоннадой Зимнего дворца, над поверженной глыбой рейхстага. В сочетании этих слов — «Красная горка» — слышится глубокая народная старина: поют колядки босоногие деревенские ребяташки; водят хороводы девушки в синих сарафанах с медными пуговичками до подола; старики в островерхих шапках, вглядываясь из-под руки в речную даль, забитую наплывающим крошевом льда, вздыхают: «Пришла весна-красна»... Красная — это еще и красивая, весенняя, яркая.

И вот на какой-то миг повеяло старинной, седой многовековой историей земли Заволоцкой — историей Вологодчины... Так же ворочала ледяные глыбы река, шипела битой хрустальной мелочью, заливала мелколесье, буйно

разросшееся в заречье. Согнанные с Вожи, Сямы, Комелы, Тотьмы, Устюга мужики длинными многоверстными обозами везли на дровнях известь, камень, кирпич, обстрили многоаршинные сваи, рыли рвы. Потому что, пишет летописец, «великий государь царь и великий князь Иван Васильевич в бытность свою в Вологде повелел рвы копать и сваи уготовлять, и место очистить, где быть градским стенам каменного здания...» Берега речек Золотухи, Шограша, Содимки, которые Иван Грозный «повеле копати», дабы превратить их в глубокие крепостные рвы, были густо облеплены работными людьми. Среди рубах и армяков мелькали рваные цветные халаты. Тысячи пленных казанских татар и «турок» (погайцев и крымских татар) были пригнаны в Вологду по царскому повелению. Мерли они от голода, от холода, от непосильной земляной работы. Погребали их с тотемцами и устюжанами в тех же земляных насыпях, которые они вместе, по цареву указу, отрывали. С тех пор народ и прозвал эти насыпи **Т а т а р с к и м и** горами.

Но особенно хлопотал и радел государь Иван Васильевич о строительстве нового храма Софии — премудрости божьей. Строился этот собор с великим старанием: «...а сколько сделают, то каждого дни покрывати лубьем и другими орудии, и того ради церковь крепка на разселины», — многозначительно замечает вологодский летописец. Иван Грозный нередко появлялся вблизи собора, наблюдал, как «наемпики», то есть нанятые по царскому повелению каменщики, клали лепную церковь по образцу Успенского собора в Москве. Не раз уже задумывал царь Иван перенести в Вологду столицу первопрестольную, подальше от боярской смуты, поближе к торговым заморским гостям. Но помешало этому одно предзнаменование. Вот как об этом говорится в старинной былине:

...Когда царь о том кручинился,
В храме новым похаживал,
Как из свода туповатова
Упадала плинфа красная,
Попадала ему в голову,
Во головушку во буйную,
В мудру голову во царскую...

Вологодским «земским, посадским и остальным людишкам» хорошо была известна ярость державного властителя, посему и «тряхнулася» мать-сыра-земля «от того проклятья царского».

...Уже скрылись из виду стены недостроенного Софий-

ского собора, — вдоль колеистой дороги потянулось мелко-лесье, а царь Иван Васильевич был мрачен и неразговорчив. И только на седьмой версте он «проговорил». Здесь-то и возникло впоследствии село Говорово.

Вологодский летописец, пересказав легенду с «плинфой», по наивности своей, что ли, приводит более веские и правдивые обоснования поспешного отъезда Ивана Грозного из Вологды: «Того же году был на Вологде мор велик, и того ради великий государь изволил идти в царствующий град Москву, и тогда Вологды построение преста». Было заброшено возведение каменных стен и башен, осыпались и зарастали травой крепостные рвы, догнивали у подножья Красной горки лады, на которых помышлял царь-государь отправиться из Вологды в далекие заморские страны: через Архангельск и Белое море.

...Здесь, на Красной горке, у Софийского собора, для возведения и росписи которого потребовалась жизнь двух поколений, как-то особенно остро и глубоко думаешь о бессмертии человеческого деяния. В летописи, которая не раз упоминалась, подробно говорится о знамениях, сопровождавших строительство Софийского собора, о царском повелении «церковь поставити внутри града, у архиерейского дома». Но нет, да и не могло быть в летописи имени тех, кто непосредственно строил этот собор, имени работных людей и «наемников», предложивших «ради того, чтобы церковь была крепка на разделины», укрывать кирпичную кладку на ночь, от мороза и непогоды, «лубьем и другими орудии». Простые каменщики, они знали толк в своем ремесле и знали дедовские секреты этого ремесла. Они проявили рабочую смекалку, сметку. Их трудами богатели и крепла русская земля. Они и были подлинной солью этой земли, решающей силой исторического развития. Тогда, более пяти веков назад, ими, надо полагать, руководил не один только денежный расчет или угроза неминуемого голода. Ими руководила и вера в «святость» их труда, вера в то, что, создавая эту прочнейшую кладку, они обретали право на бессмертие в потустороннем мире. Обрели же бессмертие эти простые вологодские каменщики и землекопы здесь, на земле: их труд, их незаурядное мастерство, их чувство прекрасного дали им право сохраниться в памяти потомков.

По царской прихоти было «Вологды построение преста». Она захирела, обезлюдела и лишь недостроенный Софийский собор, да Татарские горы, да Известная гора —

гора извести, свезенной на берег реки для строительства каменных стен и башен, — напоминали вологжанам о начавшемся было расцвете города. Воеводами в Вологду назначались люди опальные и неумелые. «...Воеводским нерадением, — читаем мы в старинном документе, — сторожей на башнях, у снарядов пушкарей и затинщиков не было; а были у ворот на карауле немногие люди... а большие ворота были незамкнуты».

22 сентября 1612 года «в остатошном часу ночи» к городским заставам подтянулась конница. Не звякала конская сбруя, но поскрипывали седла, не громыхали о камень колеса единорогов: «польские и литовские люди, и черкесы, и козаки, и русские воры пришли на Вологду безвестно изгоном и город Вологду взяли и церкви божия опоругали, и город и посады выжгли до основания...»

С гиком, с посвистом пролетали всадники по темным узким переулкам, бросали, раскрутив над головой, смоляные факелы в замшелые крыши, тащили из купеческих лабазов куски сукна и тафты, запихивали в переметные сумы золотую церковную утварь: паны и воровские люди гуляли вовсю! На наплавном мосту, возле Красной горки, они зарубили окольного и воеводу Григория Долгорукова и дьяка Ивана Карташева. Перепуганные жители и остатки городской стражи заперлись в Софийском соборе. Разорители города по штурмовым лестницам забрались на кровлю и собор подожгли. Сотни людей погибли в пламени пожара. Через два дня, 25 сентября 1612 года, колонны шляхтичей и русских воров ушли дальше на Север. Сильвестр, архиепископ вологодский и великопермский, писал московским боярам и воеводам: «И ныне, господа, город Вологда — жженое место, укрепити для насады и снаряд прибрать некому; а которые вологжане жилецкие люди утеклецы, в город сходиться не смеют, а воевода Григорий Образцов с Белаозера со своим полком пришел и сел на Вологде, но никто не слушает, друг друга грабят...»

Горько причитали по убиенным и рвали на себе волосы женщины, смрадно чадило пожарище, которое несколько дней назад было мирным, работающим городом. «А все, господа, делалось хмелем: проиши Вологду воеводы» — таковы последние слова Сильвестра в его невеселой «отписке» в Москву.

Казалось, нужны были годы п годы, чтобы отстроился этот город на северной реке, чтобы крестьяне, ремесленники и другие жилецкие люди взялись за свои повседневные труды, срубили новые избы, замостили торцами

улицы. И все-таки город возник на пепелище! И снова труд одержал победу над смертью и разорением.

...По Красной горке поползли длинные тени: вечерело. Стало свежо. Софийский собор отступил куда-то вглубь, подернулся сизой сумеречной тенью. Сквозь шум и шорох ледохода, сквозь тонкое посвистывание ветра не было слышно басовитого гудка вагоноремонтного завода. Обычно, особенно на окраинах, в конце и в начале рабочей смены слышится переключка заводских гудков, а по ночам — резкие голоса паровозов у железнодорожных переездов и пароходов у пристаней. Сейчас из проходной льнокомбината, литейного завода, «Северного коммунара», со строительных площадок спорно зашагают вологжане — потомки каменотесов, углежогов, землекопов, чьими трудами этот собор так высоко вознес свои купола над речным обрывом. И если Красная горка — это крутояр, с которого можно обозреть даль веков, то новые жилые кварталы, новые поселки Текстильщиков, Речников, Завокзальный, Октябрьский — это сегодняшний и завтрашний день Вологды.

Вот почему этой напористой ранней весной, оглядывая тронутый вечерней дымкой город, хочется мысленно представить себе его будущее. Через несколько лет так же будет шуметь весенний ледоход. Земные соки ударят в стволы деревьев, и почки набухнут и чуть раскроются, словно клювики маленьких птиц. Но усилиями и трудами тысяч рабочих, строителей, инженеров, архитекторов, проектировщиков в городе возникнут новые корпуса, асфальтированные проспекты, стадионы, кинотеатры, школы, детсады. Вологда будет разрастаться к югу, в ту сторону, где ныне находятся льнокомбинат и поселок Текстильщиков. Там будет построен многоэтажный городок с населением, превышающим население всей дореволюционной Вологды. И как тут не вспомнить добрые, с легкой лукавинкой строчки Александра Яшина, посвященные землякам:

Вологда теперь разбогатела,
Вологжане, брат, взялись за дело,
Только окать не перестают.

Что же, пусть певучая скороговорка, округлый вологодский говорок отличает моих земляков от других жителей родной земли, у которых, как и у вологжан, спорится дело, у которых есть, я верю, непременно есть своя Красная горка.

КУПОЛА И ЛАСТОЧКИ



Замечали ли вы за собой такую особенность: на художественных выставках далеко не сразу и далеко не все полотна открываются вам. Видишь как будто бы все: и приглушенный или, наоборот, интенсивный цвет, и композиционное решение, и выразительные детали, и самобытность художника, а вот поди ж ты! — все эти составные эле-

менты искусства существуют сами по себе, а картина — сама по себе. Полотно молчит, хотя каким-то седьмым чувством знаешь, что ты не добрался до его сокровенной сути.

Нечто подобное происходило со мной, когда я видел многочисленные картины, эскизы и этюды Константина Федоровича Юона, понимая разумом, что это крупный художник, влюбленный в Россию, что надо бы мне замедлить шаг, остановиться хотя бы возле знаменитого Троице-Сергиевского цикла. Я останавливался, вглядывался и — проходил дальше. Но вот однажды в руки мне попала репродукция картины К. Ф. Юона «Купола и ласточки», написанной еще в 1921 году.

Чем-то близким, до боли знакомым повеяло на меня от этой картины. Но чем? Ах да, вспомнил!

В Вологде, возле Софийского собора, в XIX веке какой-то архиепископ воздвиг громадную колокольню. Насколько классически ясны, строги линии собора Софии Премудрой, насколько прост и величествен весь его белокаменный облик, насколько эклектична по стилю эта колокольня: когда смотришь на нее вблизи, создается впечатление, что это немецкая кирха, стреловидные окна и закомары которой неизвестно по какой причине увенчаны огромной луковичей — куполом с православным крестом. С этой колокольни, куда по воскресеньям пускают всех желающих, открывается такой вид на Вологду, на ее окрестности, что дух захватывает. Прямо перед основанием колокольни — здание государственного банка, дальше идут городские кварталы, поблескивает река Вологда, высятся трубы заводов, а по самому горизонту — деревеньки, пашни, леса. Возле

решетки, ограждающей площадку для обзора, с пронзительным криком вьются ласточки, из колокольни, как из погреба, тянет прохладой, а ты жадно вбираешь эту даль и не можешь оторвать взора от земных просторов, которые видны тебе на все четыре стороны света.

Пережив все это за несколько неуволимых мгновений, я вновь стал разглядывать картину Юона. Вот тут-то она и открылась мне. Искусство художника покорило меня, заговорило со мной ясным, понятным языком. Массивные барабаны собора были нежно розовы от заходящих лучей солнца. Ажурная ковка позолоченных крестов как будто плыла в прозрачном летнем небе. Черные точки ласточек, которые скорее угадывались, чем виделись наяву, стремительной метелью кружились над куполами.

Между их свободным, молниевидным полетом и каменной, позлащенной материальностью собора был разительный контраст: он-то и заставлял особо пристально вглядываться в картину, искать в ней сокровенный смысл.

Постепенно палитра художника начинала творить чудеса: небо чуть позеленело от тихих садов и полей, а дымка по горизонту восприняла синеву вечеряющего неба,— и все вместе захватывало чувством приволья, радостного умиротворения, покоя, чувством, которое хотел передать мне, зрителю, художник. И он передал мне это чувство, заставил меня еще раз испытать прилив влюбленности в красоту Средней и Северной России, которая всю жизнь властвовала над его душой.

ПАМЯТЬ СЕРДЦА

*Матери моей Екатерине
Александровне*



В разные годы эти стихи приписывались то Александру Пушкину, то Апполону Майкову, то Афанасию Фету. А принадлежат они Константину Батюшкову — моему земляку — и ныне стали почти пословицей. Вот они:

О память сердца — ты сильнее
Рассудка памяти печальной.

В глубоком вздохе, как бы невольно вырвавшемся из человеческой груди, — подкупающее обаяние поэтической речи. Неизбежно, неодолимо вспыхивает желание воскресить страницы прожитой жизни, углубиться в себя, задуматься. Это — виденья наяву, как говорили во времена Батюшкова.

И я поддался очарованию старинного полустиха и медленно-медленно развертываю свиток пережитого.

Вырос я в городе, — так во всей округе называлась Вологда: город и город, без само собой понятного уточнения. Двор у нас большой, пыльный и скучный летом, непролазный от грязи осенью, заваленный поленицами дров зимой. За двором, в бывшем крепостном рву, речка Золотуха. Зато сколько находилось здесь укромных «галдарей», сарайчиков, подвалов для детских игр и неожиданных находок!

Жили мы вдвоем с матерью Екатериной Александровной, ныне пенсионеркой. Я пользовался полной свободой и безграничным ее доверием. Подростком мне приходилось помогать матери.

Радость первых самостоятельно заработанных рублей — ни с чем не сравнимая радость. Пришла она в канун войны и означала только одно: детство окончилось.

На Карельском перешейке в сорок втором году без вести пропал мой отец. Там же мне впервые довелось выползти на «нейтралку»: необходимо было заминировать передний край нашей обороны. А потом, после перемирия с Финляндией, на своих же минных полях подрывались мои товарищи-саперы — в короткие сроки перемирия надо было снять минные заграждения, а нейтральная полоса была

изрыта, перепахана, неузнаваемо обезображена ожесточенным артиллерийским и минометным огнем.

Затем — прорыв на Сандомирском плацдарме; польские села, горящие вдоль всего горизонта; заводские трубы и концлагеря Верхней Силезии; отчаянная переправа через Одер, и наконец, тот жаркий майский вечер, когда от цивильного немца я услышал: «Пан офицер — война капут!» Я не поверил ему, потому что вместе со своим взводом пробирался в лесах где-то около чешского города Наход и ничего не знал о конце войны. Славное время, героическое время — восторженные толны народа вдоль автострад, крики «Наздар!», охапки сирени, невероятное буйство сирени — и музыка, и солнце, и долгожданный мир.

...В старину филологические факультеты назывались отделениями словесности. Так вот только словесником я хотел быть после войны; у меня не было присущих молодости сомнений при выборе будущей профессии, — смутно, как говорится, про себя, знал, что лишь в сфере словесности, а если точнее, хотя, может быть, и старомоднее, — изящной словесности — я обрету жизненное призвание. Влияние матери, воспитавшей во мне эту любовь к печатному слову, с благодарностью признаю и поныне.

Из раннего детства мне памятен такой эпизод. Как-то на кухне, заставленной столами и корытами, читали вслух книгу. Моя мать любила по вечерам читать вслух соседкам и подружкам. Я ничего не помню — что это была за книга и кто ее написал. Помню лишь свое удивление: из какого тайника мог увидеть тот, кто это написал, как люди ходят по комнатам, разговаривают между собой, о чем они думают, оставшись в одиночестве? Я не представлял себе, что все это, выражаясь академическим языком, плод творческой фантазии, и нередко, играя на полу нашей огромной сырой кухни, начинал нарочито громко говорить и смеяться: кто знает, может быть, он тоже подглядывает за мной в эти минуты?

Не в этом ли чистосердечном удивлении перед искусством, не в этой ли детской вере в реальность, в доподлинность всего изображенного художником живет сама поэзия? Часто книга была как бы продолжением жизни, а жизнь и отношения людей друг к другу поворачивались такой гранью, какую ранее открыли книги. Постепенно я стал замечать, что отдельные стихотворения, иногда даже вскользь услышанные строки заражают меня особой, чудодейственной энергией, помогают мне преодолеть душевную распутицу, которая, вероятно, бывает у каждого из нас.

Эти стихи или строки необычайно точно определяли то состояние, в котором я находился в данный момент, а может, знавал в прошлом. А назвав это состояние, обозначив его словом, мне становилось вроде бы легче, я приобретал новый душевный опыт, бывал хоть чуточку, но взрослее.

Как-то в офицерской землянке — наша дивизия стояла в привислинских лесах — мой товарищ спел «В лесу прифронтовом». Услышал он знаменитый вальс в штадиве и сразу же выучил его наизусть. Под низким бревенчатым потолком, на нарах, застеленных плащ-палатками, мы лежали бок о бок, и каждое слово песни долго звучало во мраке землянки.

— Постой, постой, — перебил я товарища, — пу-ка, повтори: «А коль придется в землю лечь...»

— «Так это только раз», — допел друг, сел на нарах и обрадованно, словно бы свалив с души непомерную тяжесть, ударил меня по плечу: — Чуешь, деревня, — только раз!

Для него, как и для меня, эти строчки были неожиданным откровением. Слышалась в них удаль, бесшабашная решимость, отвага. Они преследовали меня долгое время и — странно — стали чем-то вроде заклятья, выручая в самых невероятных ситуациях. Проваливаясь в полыньи одерской переправы, сползая в полуразрушенные немецкие окопы, перебегая через улицы чужих городов, я ожесточенно твердил их про себя. Этими строчками я подавлял приступы отчаянья, которые знакомы каждому, побывавшему под прицельным пулеметным огнем, под бомбежкой, под ураганным минометным обстрелом. Так я поверил, что поэзия помогает жить.

...Свиток пережитого медленно разворачивается перед глазами. Образы былого всплывают из глубины сознания, как всплывают из озерных глубин тихие, медлительные тени водорослей. Но звучит неумолчно в душе все то же старинное полустышье, едва различимое, как бывает едва различима игра на клавишине:

О память сердца — ты сильнеей
Рассудка памяти печальной.



Июль — самый длинный, самый скучный месяц в году. Игушка снова уехал в Крым вместе с родителями. Вернется он только осенью перед первым сентября и привезет разные сокровища: засушенного краба, старинную монету, камушки, такие гладкие, что о них можно потереться щекой, можно покатать с ладони на ладонь, можно помуслить,

и тогда в темно-синих свалах отчетливее выступают белые птичьи глазки.

Но главное Игушка будет рассказывать о море, о Генуэзской крепости, — с ее развалин он увидит морской прибой.

Сколько я ни силился, я не мог представить себе море: вышло что-то непомерно большое, больше Кубенского озера, — и только. А вот высоту я знал — не раз забирался я на колокольню Софийского собора. Поэтому мне и снилась Генуэзская крепость: стены ее уходили в сумрачную пучину, остроконечные шпили впивались в небо. Даже во сне я ощущал тревожный холодок, подступающий к сердцу, когда смотришь вниз, когда земля неудержимо тянет к себе.

Но как одиноко, маятно все-таки живется без друга в июле!

Мама нынешним летом опять будет работать по две смены: осенью придется мне справлять зимнее пальто, ботинки с галошами. В школе идет ремонт, — окна забрызганы известкой, парты сложены штабелями на школьном дворе. Из ребят в городе осталась только Галка, но она — девчонка да еще живем мы в одной квартире — за зиму надоели друг другу страшно.

А летом без ребят во дворе какие развлечения? У складских ворот понуро стоят ломовые лошади. Пахнет от них крепким потом и навозом, мухи вьются у покорных, слезящихся глаз. В деревне лошади другие, резвые, гладкие, звонко екающие на бегу селезенкой. На такой лошади хоть в ночное, хоть на дальний покос, — только рубашка пузы-

рится на спине, только ветер треплет волосы да хлещет по глазам, высекая отчаянную слезу.

Можно, конечно, сбегать на площадь к котлам, поглядеть, как рабочий, встав на колено, утюжит горячий асфальт, можно незаметно вдавить босую пятку в асфальт, оставить свою метку для будущих времен, можно, наконец, пойти на купалку. Но пока идешь домой мимо полосатых, выцветших на солнце тентов, снова обольешься потом.

По всему видно, лето будет долгим, жарким, с редкими грозами и дождями; ведь минувшая зима была холодной. Это за двенадцать лет моей жизни я не раз проверил.

Жара спадала только к вечеру, и тогда с Галкой мы начинали игру в «двенадцать палочек». Кому выпадало водить, тот должен был оберегать доску, а другой — прятаться. Стоит зазеваться сторожу, как ты выскакиваешь из-за угла, прыгаешь обеими ногами на доску: палочки — р-раз — в разные стороны, а ты с хохотом убегаешь снова. Конечно, вдвоем играть неинтересно, но надо же чем-то занять себя.

Галка, как всегда, водила, — я выбирал дворовые закоулки подальше, поглуше. Наконец мне надоела наша игра, и я решил спрятаться так далеко, чтобы соседка ни за что меня не нашла. Для этого нужно было перелезть через забор, пройти густые заросли крапивы и выбраться на откос Золотухи. Из могучих, тронутых ржавчиной лопухов там торчали остовы старых кроватей, валялись ломаные ящики со склада, дырявый матрас, тазы с пробитыми днищами и прочная домашняя рухлядь.

Я шел по направлению к Каменному мосту, под которым протекала Золотуха. Каменный мост вплотную застроен магазинами, мастерскими, складами; обрывы здесь особенно круты, и никто, кроме мальчишек да еще жуликов, не забирается в буйные заросли татарника и лебеды. До кирпичных опор моста оставалось несколько шагов, но они были самые трудные: поминутно земля осыпалась под ногами, крошилась, скатывалась к воде. Я хватался за стебли лопухов, забираясь все выше и выше. И когда рубашка стала мокрой от пота, а лицо густо облепила паутина, — я дотронулся рукой до кирпичной опоры. Внизу, в вонючих, коричневых комьях пены, текла Золотуха.

Раздвинув листья татарника и стебли прозрачной лебеды, я даже присел на корточки от удивления: передо мной возвышался город! Террасами, бесконечными переходами, башенками и башнями он уходил ввысь. Заканчивался он острым шпилем, который гордо парил над буйными зарос-

лямь бурьяна. Низкое, оранжевое солнце опускалось за моей спиной, отбрасывая причудливые тени от лопухов. Город был безлюден. Но это безлюдье, молчаливость придавала ему вид таинственный, нездешний. Именно такой была Генуэзская крепость в моих сновиденьях. Я присел сбоку, заворожённо пробегая глазами по переходам, остроконечным шпилям, по низким строениям. Мне даже в голову не пришло подумать: кто выстроил здесь удивительный замок. Он был передо мною, был не мечтой, не сном, не фантазией, а явью, — я мог протянуть руку и осторожно потрогать его, мог поставить сюда человечка из бумаги, мог засадить садами, украсить флагами. Но и без моих украшений город был прекрасен.

Уже совсем за вечерело. От Золотухи стал подыматься ядовитый, тяжелый туман. Надо было возвращаться к себе во двор.

Сон бежал от меня в тот вечер: я воскрешал перед закрытыми глазами башенки и переходы, мечтал, как завтра вечером, непременно вечером, я пойду на откос и тогда вдоволь налюбуюсь моим сокровищем. А когда уснул, то не слышал, как небо раскололи глухие раскаты грома, как проливной дождь захлестал по стеклам, как мама осторожно встала и укрыла меня одеялом.

...Когда я выскочил за дверь, во дворе парило — парили железные крыши, стены сараев, замшелые «галдарей», парила мостовая и груды ящиков, сложенных возле склада, пар подымался даже от спин лошадей, как всегда уныло стоявших у ворот.

Весь день я томился ожиданием, бесцельно слоняясь из угла в угол, подходил к забору и возвращался обратно. При виде Галки отводил глаза в сторону, напускал на себя вид скучающий, равнодушный.

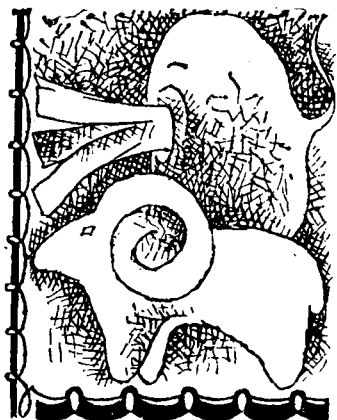
Однако характера у меня не хватило. Таинственно оглянувшись по сторонам, я поманил ее рукой, помог залезть на забор, потом соскочить с забора и вступить в густые заросли крапивы. Галка судорожно хваталась за меня, пищала от страха и вообще вела себя как девчонка, но я упорно тащил ее к устоям Каменного моста. Вот и знакомый обрыв, выше, выше, — я сдерживаю дыхание, пригибаю мощные стебли лопухов, — и застываю пораженный. Мой сказочный город исчез, как будто его никогда и не бывало! Нигде не виделось главного шпиля, сверкающего на солнце обломком стекла, крохотных башенок и куполов. На коленях я излазил все лопухи, вернулся к забору, снова прошел весь путь над обрывом, — напрасно, города не было.

Галка, выдирая репейник из волос, ругала меня, как могла, вспоминала самые обидные дворовые прозвища, грозила вернуться и рассказать все как есть тете Кате, но я был настолько обескуражен, был настолько потерян, что не обращал на нее никакого внимания. До нее ли, решившей, что я все навывдумывал и наприкинул, было мне тогда!

Теперь-то, спустя много-много лет, я хорошо знаю: город, похожий на Генуэзскую крепость, был.

С Каменного моста по желобу дворники ссыпали на берега Золотухи пыль. В куче слежавшейся пыли мелкий дождик выбил стенки, террасы, призматические столбы. Однако ночная гроза, которую я смутно слышал сквозь сон, размыла пирамиду до основания.

И все-таки тягостным, скучным, жарким июлем я, вероятно, был счастливее Игушки, который беспечно загорал в Крыму. Я все-таки был богаче: городские задворки — мы ли не знали их — одарили меня чудесной тайной.



БАРАШКИ

Надо было найти в сенях старый мешок, вывернуть его углом, накинуть на голову и боком-боком — подальше от окошка — спуститься с крыльца. А уж потом припустить так, чтобы замелькали колья загоры, чтобы лужи разлетались вдребезги. В ушах только свист ветра да запоздалый крик тетки: «Куда вы, дьяволяты-ы?..»

Но от отчаянного восторга дыхание перехватило в груди, босые ноги не чувствуют осклизшей тропинки, дождевые капли высыхают на пылающем лице.

Небо — серое, обложное и такое, что кажется, подскочи на бегу — и зачерпнешь в горсть белых, набрякших водой прядей. Долгое ненастье приблизило к деревне край земли: он где-то здесь, сразу же за скотным двором, за кучами навоза, дымящимися теплым парком. Вбежать бы на эти кучи да отогреть бы занемевшие от холода ноги. Но — мимо скотного двора, мимо последних изб, которые, словно старухи, только что вышли из мелколесья и вымокли там по пояс; до самых застрех исхлестали их многодневные дожди.

Вёдра не обещают ни чуть приметный ветер со Спаса, ни густая пелена тумана над ельником. Нигде не видать ни души: деревня затихла, притаилась в ожидании золотого солнечного луча. В такую погоду сторож Вахромеев сидит, наверно, в избе Митрия-кузнеца, в крайней избе всего посада. Он всегда там сидит, когда на улице непогода. Расставит ноги в латаных-перелатанных, огромных, как две пароходные трубы, валенках и сидит на лавке возле двери. Дымит самосадам, складывает окурки под порожек к венуку, говорит всякое такое, что на ум взбредет, а сам ждет, когда накроют на стол, поставят самовар да позовут его пить чай с медом. Хозяйка у Митрия молодая и поэтому добрая, всегда Вахромеева чаем угощает.

Но это так, между прочим, пока летишь что есть духу к поскотине, успокаиваешь себя, отгоняешь тайные мысли: а вдруг выскочит Вахромеев из шалаша, заорет, затопает

валенками, схватит старую берданку да как бабахнет... Мимоходом заглядываешь в шалаш, сбитый из замшелых досок. В нем только сенная труха да прокопченный чайник в углу.

Мы с Санькой сбавляем бег. Близко заветная межа, где налево — волны серебристо-зеленого гороха, направо — длинные ряды репы, — что хочешь, то и выбирай. Теперь можно отдышаться, можно, не торопясь, идти по меже, иногда срывая пузатый стручок, иногда дергая за жесткие будылья репы. Жаль, что мешок надо снимать с головы, не тащить же за пазухой вороха гороха и тяжелые ядра репы, облепленные вязкой землей. От одной этой мысли мурашки по спине пробегают. На тебе нитки нет сухой, штанины облепили икры, рубаха прилипла к спине, но все кажется мало, все еще жадно шарят глаза по ту и по другую сторону межи. Ну, хотя бы вот эту, — суглинок размыло дождем, и глянцевого бок репины, огромный, как месяц над поскотиной, обнажился, зажелтел — ну, просто нет никаких сил удержаться и не вырвать ее.

Все, — теперь, кажется, все. Закинув мешки за спину, мы с Санькой легкой рысцой направляемся к дому. Идем задами — мало ли что может случиться? Но это так, для порядка. Пьет Вахромеев десятую чашку чаю и прикидывает про себя, зачерпнуть ему душистого янтарного меду или все-таки воздержаться, поводить куском пирога по дну щербатого блюдечка, вздохнуть и оставить чашку, предварительно перевернув ее вверх дном... Надо ведь соблюдать приличие, и хозяев не обидеть да и себе чтоб, конечно, не было обидно. Вздыхает Вахромеев, отставляет от себя блюдце с чашкой далеко-далеко, говорит снова всякую всячину, а мы уже вытряхиваем мешки возле крыльца, положим репу в дождевой бочке, посмеиваясь тычем друг друга под бока. На подоконнике повисла наша челядь: Мишутка, Аришка, даже голопузый Юрка вылез и таращит глаза на нас сквозь туманное стекло.

Тетка ушла — и мы в избе полные хозяева, большаки. Санька достает из укромного уголка ножик, выточенный из старой ножовки, я беру городскую перочинку — наступает сладостный момент, награда за озноб, который колотит нас даже здесь, в чистой теплой пропахшей печным хлебом и укропом избе.

— Валашка, балашка, — тянет голопузый Юрка, и мы, снисходя к его малолетству, начинаем вырезать первого барашка.

Ядреную репину надо положить в ладонь, взять нож и,

срезав круг, завить кожуру тонкой спиралью. Спираль эта ни разу не должна поломаться, а должна снова сложиться на столе неким подобием репы. Из-под лезвия ножа сверкает желтая, как засахарившийся мед, мякоть репы. Землей, полевой свежестью и еще чем-то таким резким, что и определить трудно, пахнет теперь в избе. Постепенно вырезаются крутые рога, спинка, даже маленький хвостик — баран ставится перед самым Юркиным носом. В избе слышно только напряженное шмыганье носами да однообразное гудение мух у загнетки. В тепле нас с Санькой разморило, глаза слипаются от усталости, но мы не можем остановиться; челядь заморожена превращением репы, которую тетка скармливает корове или томит в печке, во что-то совершенно необыкновенное. Стол завален маслянистой кожурой — стадо растет на глазах. Есть в нем крохотные барашки, есть однорогие неудачники и веселые бараны-зайцы. Иные тут же съедаются челядью, иные берегутся для игры. Теперь не нужно протирать запотевшие стекла и с тоской смотреть, как отряхиваются куры под соседским крыльцом, как рябит лужи порывами ветра, как перебегает улицу, накрывшись плащом с головой, базниковская Верка. Теперь можно ехать в город, торговать на базаре, меняться друг с другом, спорить из-за совершенно замусоленного, вываленного в золе барана, чтобы в конце концов потерять его где-то в подпечке и уснуть в тихих дождливых сумерках вповалку здесь же, на широких лавках избы.

А утром проснуться, выскочить на крыльцо и долго и счастливо жмуриться от неправдоподобно горячего деревянного солнца.

Я поднялся на шестой этаж, хлопнул дверью лифта и вошел в квартиру. Поставил на табурет хозяйственную сумку, бока которой распирала рыбочная снедь, позвал из соседней комнаты сына.

— Смотри, что я тебе принес, — малыш выжидательно помолчал. — Это же репа!..

Поверх пакетов с картофелем и луком лежало полдюжета сморщенных, пожелтевших репок. Сын вежливо повертел одну из них в руках и положил обратно.

— Хочешь, я тебе баранчика сделаю? — все еще питая надежду заинтересовать его, спросил я.

На какое-то мгновение, когда я срезал, вернее кромсал кожуру, в глазах сына мелькнуло любопытство. Но вот

сухая, как дерево, репа очищена, выструган баранчик. Нет, не баранчик, а нечто квадратное, неуклюжее было поставлено на стол. Мне самому стала смешна моя затея: ни с каких станций не уходят поезда в страну нашего детства!.. Я горестно сгреб баранчика вместе с очистками, завернул все в газету, хлопнул крышкой мусоропровода. Сын ушел к себе.

Медленно покуривая сигарету, я задумчиво глядел в широкое окно кухни, на коробки домов, уходящих к самому горизонту. Потом зашел к сыну. Перед ним лежала раскрытая коробка немецкого «конструктора». Неумелыми, неуверенными пальчиками он пытался свинтить передвижной кран: гайки и винтики выскользывали из рук, сын сердито сопел, но не отступал от задуманного. Холодно поблескивали перед ним металлические планки, угольники, колеса «конструктора». Но в глазах сына я увидел жадные огоньки нетерпения и любопытства, которые так тщетно ожидал увидеть раньше.



— Идем в Сады? — спросил меня тезка, парень лет семнадцати, надевая праздничную ковбойку и доставая из сундука гармонь.

Садами на Сяме зовут бывшую поповскую усадьбу, где в бывшем же поповском доме с тридцатых годов находился сельский клуб. Вообще-то садов здесь и в помине не было, они померзли в соро-

ковом году, да так и не отродились, но сохранилась в садах задичавшая аллея, кольцом окружающая пруд. Там-то и собиралось ежевечернее гулянье, там можно было повстречать знакомых девчонок, поугасть их из зарослей, а то и подраться из-за дроли с излишне настойчивым ухажером. Сады располагались поодаль от деревень — без родительского надзора было вольготнее молодяжке, как зовут в деревнях подростков. Известное дело, чуть за вечереет, вылезут старухи на завалинки и заладят: «А мой-то Ваня, а ваш-то Саня...»

До Садов надо было идти километров пять, но желание увидеть деревенское гулянье было настолько велико, что я охотно согласился. Когда мы пришли, Сады были уже пусты. Возле клуба тарахтел движок — вот-вот должно было начаться кино. Мы стали протискиваться в тесные сенцы, мой тезка моментально потерялся в толпе, и я был вынужден один смотреть какой-то трофейный фильм еще довоенной давности. От старости лента была не черно-белой, а почти прозрачной; она беспрерывно рвалась, и тогда киномеханик зажигал переноску, ребята гуртом валили в сенцы покурить, а девчонки шушукались, окликали подружек, беспокойно вертелись, ждали, когда окончится эта маята.

Наконец актриса в последний раз заломила руки, в последний раз мелькнула какая-то тень, — картина кончилась.

Одним моментом длинные скамьи были составлены в угол; девчонки побрызгали из чайника и подмели пол,

принесли бак с водой и кружкой. Заиграла гармонь, начались танцы.

Сыграв для приличия какое-то подобие вальса, мой тезка — он сидел в углу с ухажерками — рванул свою, деревенскую. Бесконечной чередой сменялись пары; парни с низко опущенными чубами, с отрешенными, каменными лицами бухали в пол так, что покачивалась под потолком всякая лампа; их подружки, в красных и синих плащах, в белых платочках, ловко дробили, тонкими голосами выкрикивали частушки. Потом пары сходились, и парни, не меняя выражения лица, ожесточенно вертели подружек, а те взвизгивали, хватались за подол и быстро-быстро перебирали ногами. Все здесь было, как на «взрослом» гулянье, и даже танец этот, называемый «заинька», был известен на Сяме с незапамятных времен. В молодости «заиньку» играли наши прабабки, причем если было несколько гармонистов, то играли «заиньку» много часов подряд. Так было и в Садах из вечера в вечер.

Но вот тезка внезапно остановился, поперебирал лады, подождал, пока отдышатся танцоры, и начал незнакомый мне мотив. «Что это?» — спросил я у соседки, забившейся в полумрак избы и ни разу не рискнувшей выйти на круг. «Ланчик», — еле слышно прошелестела она.

Теперь парни встали у одной стены, девушки — у другой. Парни пошли им навстречу, — тут поднялся такой топот, словно по избе пробегал табун коней. Затем девушки наступали на парней, а парни разбирали своих подружек и вертели их с еще большей силой, чем в «заиньке». Потом все начиналось сначала.

Поздней ночью я выбрался из избы. Высокое, поблескивающее звездами небо после недавней тесноты казалось еще выше, заросли черемухи в Садах — чернее, воздух — духовитее и прохладнее. Постепенно в ушах смолкал однообразный хрип гармоники, гулкая дробь каблуков, выкрики частушек, и тишина, как бесшумная ночная птица, начала сужать и сужать над головой свои круги.

Я очнулся от внезапно ожившего динамика на высоком столбе. Сладкозвучный голос певца хватил за сердце. «И па тайное свиданье приходи скорей», — выводил он, и странно было думать, что всего в сутках езды от Сямы есть огромные, залитые светом концертные залы, чинная публика, праздничный блеск неоновых реклам, толпы прохожих, глухой рокот большого города, не смолкающий, не затихающий, как морской прибой, ни на мгновение.

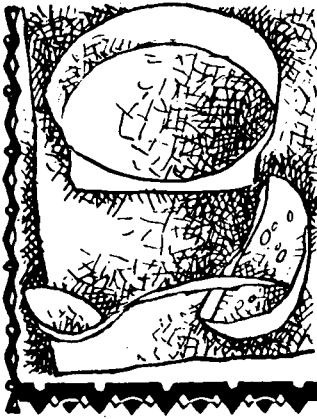
И пока я шел полевой дорогой, белевшей во тьме, я видел перед глазами озаренный прожекторами алый бархат занавеса. Вот он медленно подымается, вот выходит, — нет, семенит в тяжелом платье ведущая концерт, вот она объявляет в микрофон:

— Старинный северный танец «Лансе».

Легкое движение пробегает по залу, словно ветерок налетел на осиную рощу, налетел — и стих. Три баяниста согласно берут величавый, спокойный наигрыш, и так же величаво выплывают на сцену русские боярышни и танцоры в высоких сапогах и длинных рубахах. Спокойствием, сдержанностью веет от каждого их движения, согласием и долгой выучкой от неторопливых па. Хочется, чтобы это праздничное, залитое то голубоватым, то оранжевым светом ramпы танцевальное действо длилось и длилось, чтобы глаз радовался, видя тонкий вкус художника, оформившего эти костюмы, мастерство балетмейстера, ставившего этот танец, изысканное искусство всей танцевальной группы.

Из глуши северных лесов пришел ланчик на столченную сцену, претерпев на долгом пути удивительные изменения. Но, думал я, надо, чтобы он вернулся к себе на родину, в те же сямские Сады в одухотворенном, облагороженном виде, чтобы он стал доступен моим землякам.

...Длинна почная полевая дорога. Ах, как длинна. Чего только не передумает одинокий прохожий, овеваемый то теплом нагретых за день хлебов, то холодом туманных, сумрачных низин.



Сильным гребком я разогнал лодку и, пока она скользила по темной озерной глади, наскоро выбрал лески, зацепил блесны за борта, поднял слань, вычерпал воду и только после этого разогнулся.

В глаза мне ударило белоснежное диво облаков. Они давно и неподвижно стояли над головой, но я не замечал их, однообразно

раскачиваясь взад и вперед, делая по воде большие круги и часто то притворно-равнодушно, то напряженно поглядывая на сторожки. Лески безостановочно чертили воду, слегка подрагивая от вращения блесен, самодельные колокольцы на сторожках молчали, и мне не оставалось ничего другого, как грести и грести, постепенно погружаясь в какое-то мрачное оцепенение. Встав еще до восхода солнца, я, как говорится, маковой росинки в рот не брал, подхлестывая себя надеждой, что вот сейчас, вот в это самое мгновение сторожок судорожно задергается, леска запружинит и где-то там, метрах в тридцати позади лодки, озеро вспенит раскрытая пасть щуки. Тогда можно будет передохнуть и с тоской подумать о черстве горбыле хлеба, о головке лука, которые я впопыхах оставил в избе. Но удачи в этот день не было. Легкая зыбь сладко почмокивала о днище лодки, и, кроме этого чуть слышного плеска, ни единый звук не нарушал тишины июльского полдня.

Солнце накалило мне плечи и голову, но мне казалось, что в ушах звенит не ток крови, что это звоном звенит выпуклая гладь озера, звенят туго натянутые солнечные лучи, нимбом расходясь вокруг моей тени на воде. А сквозь этот звон и зной медленно, бесшумно на меня рушился белый водопад, снимая усталость, заставляя широко раскрывать глаза, залитые потом. Красота-то, красота-то какая!

Я посмотрел против солнца и увидел силуэты рыбацких лодок. Редкие взмахи весел придавали им удивительное сходство с караваном птиц, которые вот так же неторопливо и тяжело взмахивают крыльями в долгом полете.

Откинувшись на переднюю скамейку, я сладко потянулся, и тут только мое внимание привлекла дымная полоса, протянувшаяся над тихим озером. Медленно приближающаяся ко мне лодка оставляла за собой этот бурый, долго не тающий в летнем мареве след. «Чем черт не шутит», — подумал я и нехотя взялся за весла. Непрестанно оглядываясь, увидел, как со скамейки встал человек и замахал мне рукой. Я навалился на весла, вода сильнее зажурчала под днищем, и чужая лодка стала расти прямо на глазах. Легкий толчок: мы встали борт о борт. Сосед прикрутил уключины обрывком веревки и сказал, широко улыбаясь:

— А ты, парень, прямо к обеду поспел.

На носу его лодки возвышалось диковинное сооружение. На железном листе стояла печурка. Короткая труба была отведена за борт — труба сильно дымила. К печурке, раскалившейся до малинового жара, была прикручена большая эмалированная кастрюля, в которой побулькивало какое-то варево.

— Мне подумалось, уж не горит ли чего, — заметил я, отдышавшись.

— Угадал. Не горит, а пригорает. До тебя грести — версты три, вот я и помахал рукой: поспедай, мол, парень, пока совсем не сгорело.

Я никогда прежде не видел этого человека, но он обращался ко мне так, словно мы были знакомы сто лет. От солнца, от ветра лицо его стало медно-красным, губы потрескались и слегка шелушились. На вид рыбаку было лет пятьдесят, а может и меньше, — в деревнях люди выглядят значительно старше своих лет. Порывшись под скамейкой, сосед достал две ложки, две алюминиевые миски, отрезал два здоровенных ломтя хлеба, открутил проволоку от кастрюли и стал наливать густое варево через край. Большие куски тушенки нехотя вываливались в миску. Лицо рыбака окуталось ароматным парком, он поднял брови, и тогда белые лучики морщин разбежались от глаз. Я сглотнул голодную слюну, глядя на его хозяйскую рачительность и добросовестность. Миска дымящейся похлебки, остро пахивающей лавровым листом, заправленной крупой и большими картофелинами, была передана мне вместе с ложкой и хлебом. Ели в полном молчании.

Только сейчас я понял, какое счастье подвалило мне: озерная вода, которую я пил с утра, тяжело булькала в животе, от папирос подташнивало и першило в горле. Я сразу же очистил миску, получил добавку, снова выскреб все до

дна и лишь после этого помыл посуду, отдал ее хозяину и закурил. Рыбак стал неторопливо вставлять весла в уключины. Я начал было рассыпаться в благодарностях.

— Пустое, парень. Сей добро на лес, и то пойдешь да найдешь,— сказал он на прощанье.

Взмах, и еще взмах, и еще взмах весел, — лодка стала все больше напоминать птицу, таять, исчезать в золотистых отблесках раннего вечера.

Я направился в устье Ельмы, в деревню, прикинув про себя, что лишь с темнотою попаду в дом.

В лад сильным и четким гребкам, в лад спокойному журчанию воды во мне звучала пословица, которой я никогда не слышал прежде. Сей добро на лес (передышка, глубокий вздох), и то пойдешь да найдешь (снова передышка, снова глубокий вздох).

Меня завораживала необычность ударений, внутренняя музыка пословицы, красота созвучий, отшлифованная в столетях. Потом пришло другое — меня захватила красота мысли, красота идеи, вложенной в эти певучие слова.

В самом деле, каким бескорытием, какой вселенской добротой надо было обладать тому русскому человеку, которому впервые довелось высказать эти слова. Он знал, что северные чащи — непролазны, что в этих чащах, как и в миру, бесполезно искать отклик на твою доброту. И все-таки сей добро на лес, иди к людям с добросердечием, — тебе же добром воздастся за твое добро!

Закат прокатил по озеру алую бархатную дорожку, она тянулась от кормы лодки до самого горизонта, до той невидимой черты, за которой давным-давно скрылась добрая душа — мужик-кубеноозер...



Уже не первый раз золотым бабьим летом я возвращаюсь в Москву.

За окном — по-осеннему чистые поля и пашни, пустынные перроны северных станций. Поезд останавливается часто и стоит одну-две минуты. Вот и сейчас к вагону подошла одинокая древняя старуха. Бормоча что-то под нос, она сует проводнице,

стоящей у вагона, сморщенной темной рукой такое же сморщенное, в темных крапинках яблоко. За водокачкой, за станционными пристройками вьется полевая дорога, за взгорком видны серые от дождей деревенские крыши, старые тополя, остов ветхой колоколенки.

Поезд медленно трогает, и косяки вагонного окна начинают отсчитывать телеграфные столбы. На невысокой насыпи поезд замедляет ход, — лес еще зелен, но уже припорошен желтоватой пылью. Нижние ветки молодых березок теряются, исчезают на фоне темной чащобы, и легкое золотистое облачко парит невесомо вдоль всего пути.

Когда я отвернулся от окна, напротив меня сидел новый пассажир. Он сидел на нижней полке, свесив обрубки ног в кожаной «обсоюзке». Помятый, затасканный пиджак, свалывшаяся рубашка — все обличало в нем горькое наследие военных лет. Его глаза были под стать выцветшему осеннему небу — такой же ясной прозрачности и синевы. Без вступлений, без перехода, как о само собой разумеющемся, он начал рассказывать о себе.

— Баянист я. Работа у меня чистая, хорошая. Когда сижу в чайной, — а я в чайной в Грязовце играю, — ног не видно. Меня даже одна женщина танцевать приглашала. Да еще года три тому назад танцевал я хорошо, мог и вальс, и фокстрот, и нашу деревенскую мог. А вот теперь, — он посмотрел на «обсоюзку», — теперь нет, видно, оттанцевал. А началось все с пупырышка, вот с такого пупырычка. — И он показал мне заскорузлый, грязноватый палец,

На пальце я действительно увидел черное пятнышко с бархатистой серой каймой. — Это она и есть — гангрена, — пояснил сосед спокойно.

Я содрогнулся от этого спокойствия, от этого чистого сияния голубых глаз. Человек, видимо, по-своему оценил мое молчание и продолжал рассказ. В его простодушии не было ни рисовки, ни болезненного упоения несчастьем, а одно только желание развлечь незнакомого человека, скрасить часы долгого пути.

— Сам я с двадцать четвертого года. Ни одного ранения за всю войну не получил. Может, потому что служил на флоте. Под Сталинградом — и то уцелел. Был я тогда уже в морской пехоте. Тельняшку нам под гимнастеркой для отличия разрешали носить. И думал ли я тогда, что без ног останусь? Врачи говорят — это следствие простуды. Какой, где? — разве упомнишь, сколько лет прошло с тех пор, все позабылось. А она, война-то, вон как отыгралась...

Человек достал рваную пачку «Норда», закурил.

— Ведь столько лет прошло, — повторил он, — вы только подумайте!

В этом восклицании было столько горестного недоумения, что сердце мое уколола острая игла полной беспомощности перед чужим горем.

— Говорят врачи, уронил, мол, что-нибудь на ногу в воде, — продолжал мой собеседник. — Может, и уронил, — потаскал грузов-то, поскрипел хребтом. После войны мужиков в колхозе осталось я да Иван Росляков. Колхоз подымать надо, семью подымать. Тут уж о себе не думал. А когда сделали первую операцию, понял, другим себе пропитание зарабатывать придется. Я и на баяне-то в госпитале играть научился. Нужда да беда, она хоть кого уму-разуму научит.

Человек как-то осторожно, нерешительно улыбнулся. Потом вскинул на меня ясные синие глаза.

— Баян у меня хороший, кирилловской работы баян. Вот еду в госпиталь, отнимут, видно, руку напрочь, продавать баян придется: ребята малые, — шестеро их у меня, — для баловства инструмент дорогой...

Сосед вопросительно посмотрел на меня, словно бы желая узнать, доподлинно ли стоит ему продавать баян, или, может, так все обойдется. Его глаза излучали такой нестерпимо-синий блеск, что я поспешил отвести взгляд в сторону и только молчаливо покачал головой в ответ.

Сквозные перелески, припорошенные нежной желтизной, плыли в вагонном окне. Иногда они размыкали свою золотую цепь, и тогда открывались взору тихие, задумчивые поля. Не каждому дано оценить их скрытую красоту и величавость. Не каждому дано почувствовать за этим забытьем беспредельный молчаливый порыв. Но тот, кто ощутил на своем лице их легкое дыхание, кто впитал глазами их неяркие тона, тот никогда не забудет отчего порога.

О, родина моя, страна Прометеев!



Дальше выдерживать такое не было никаких моих сил. Пальцы затекли, побелели на суставах, но едва я оставлял скобу, как меня начинало стремительно валить на плечо Грачева, с силой прижимать к боковой дверце. Я упирался руками в клеенчатое сиденье, чтобы не скользить по нему, не ерзать, хватался за скобу, торчавшую

впереди меня, и все-таки не мог удержать приступов дурноты. Многочасовая качка измотала меня вконец, и я чувствовал, как подступает к горлу горький комок, как заходит сердце.

Грачев, широко и крепко охватив руль лесовоза, бегло поглядывал на меня. Время от времени он перекидывал потухшую папиросу в угол рта, замедлял ход машины, как можно осторожнее переваливал через измочаленное, истерзанное бревно, но машина тут же проваливалась в торфяную жижу, обдавая широким веером брызг заросли иван-чая. Резкие толчки в спину начинались снова, и я снова подтягивался к скобе или спешно отталкивался от нее, втискиваясь в спинку кабины.

За канавой, заполненной густо-коричневой водой, кренилось, качалось, вздрагивало скудное мелкоколесье. Изогнутые стволы сосенок обросли бесцветным мхом. Колюче поблескивала на солнце листва берез. Подлесок переплели, запутали жадные до света травы. И только белоснежные кружевные зонтики диделей высились над ними. Эти зонтики да малиновые метелки иван-чая одни радовали глаз по краям топкой низины.

Лесовоз медленно взобрался на дробный настил, взвыл в последний раз мотором, встал.

Грачев снял тяжелые руки с баранки, привычно откинул дверцу и спрыгнул на дорогу.

— Передохнем, что ли? — предложил он, отходя к задним колесам и оставаясь там некоторое время. Я неловко вывалился из кабины и со сладким стоном, с хрустом в суставах потянулся. Капот полыхал машинным маслом и

удушливой гарью бензина. Уши, как ватой, были забиты грохотом двигателя, но сквозь эти пробки уже просачивался тонкий металлический звон уставшего металла.

Между тем Грачев вскочил на подножку, порылся в кабине и, пока я оттаптывал занемевшие ноги, выбрал место посуше, кинул на него ватник, развязал и расстелил застиранный, с заплатками платок.

— Начнем, благословись, — то ли спрашивая, то ли предлагая, сказал он и жестом показал место возле себя.

Нехотя, как бы принужденно я подошел к нему. Отломив бóльшую часть наливушки, — так на севере зовут ржаной пирог, залитый картошкой, Грачев подал мне вместе с ней головку молодого лука, прозрачную, круто просоленную спинку леща. Пока мы ели, он как-то беспокойно поглядывал на меня из-под надвинутой на лоб, засаленной кепки. Сломанный вдвое, сильно загнутый вниз козырек и впрямь делал его похожим на грача, носатую, быструю в поворотах, исполненную достоинства птицу. Наконец, не выдержав, он мотнул козырьком в сторону лежневки:

— Ведь, как по зубьям бороны едешь...

— Неужели вы не привыкли?

— Какое там привык... Сколько ни ездю, никакого терпения не хватает. Сосет, сосет вот здесь, — он показал тыльной стороной ладони на сердце. — Хоть бросай все — и впереди машины беги. — Грачев раздраженно сплюнул и добавил: — Только технику зря гробим. — И отвалился от ватника, ища в карманах пачку папирос, затертый коробок спичек.

От перспелой немоты леса, в которой попискивали какие-то пичуги, от обильных, по-домашнему сытных харчей, я испытывал прилив особой признательности к моему попутчику. Мне нравилось в нем все: и его сдержанность в речах, и быстрые — грачиные — повороты головы, и широкие штаны, заправленные в сапоги, и даже синяя куртка, плотно облегающая плечи, по-мастеровому ладно сидевшая на нем. Вероятно, он чувствовал это и лежал теперь на локтях, запрокинув назад голову. Кепку он снял: на лбу его краснела полоска. Слежавшиеся, слипшиеся от пота волосы были тронуты заметной сединой. Возле подбритого виска, у мочки, легли ранние морщины, лицо было бледно от бензинной гари. Крепкими сухими губами Грачев мял папироску и в задумчивости смотрел в небо. Не зная, как продолжить разговор дальше, я стал вспоминать странное словцо, услышанное в леспромхозе, когда

механик, конопатый мужичонка, вручал шоферу путевой лист.

— Небось, опять крёку наведаеть? — спросил он, прижмурив глазки цвета золотистой луковой кожуры. Шофер в ответ досадливо мотнул козырьком, словно клюнул низкорослого механика в темя. И все-таки, пряча документ в карман куртки, сизо блестящей на локтях и на груди, испытующе посмотрел в мою сторону. Я беспечно покуривал, прислонившись коленом к серому матерчатому чемоданчику с молнией-застежкой, перекинув через плечо болонью. Мне не терпелось выехать из леспромхоза и никакого дела не было до их разговора. Теперь же резкое, скрежещущее словцо явно забавляло меня. И под этим неподвижным голубым небом, в эти минуты покоя и лени я надумал проверить догадку, мелькнувшую в гараже, испытать Грачева.

— Крёка? — переспросил он, подымая голову, вскидывая на меня короткие ресницы. — Это шоферня промежду собой ухажерок называет. — Он помедлил в нерешительности. — Ну тех, что живут на дороге. — Затем, припомнив утренний разговор, нахмурился, пристально посмотрел мне в глаза: — Пустое Суходеев болтал. Пустой он человек, вот и болтает пустое. — И стал с силой натягивать кепку на глаза, собираться в дорогу.

Любой новый поворот казался мне последним, а топкой, выгоревшей гати не было ни конца, ни края. Грачев устал. Он чаще, чем обычно, закуривал, напряженно поигрывал желваками. Его нетерпение росло, и он больше не осторожничал перед рытвинами, как раньше, а брал их с ходу: нас подбрасывало так, что зубы у меня клацкали и голова доставала верха кабины.

Закатное солнце слепило сквозь редколесье, пряталось в дальнем осиннике, вырывалось из недр его и опять огненно мельтешило справа от нас. И все же с каждым километром смелее бросались под радиатор наезженные колеи, ровнее бежал подлесок, временами сливаясь в струящийся дымчатый частокол. Все выше становились кроны сосен, вернее признаки жилья: то поленница дров, то обчесанный стожок сена, то маслянисто-белая щепка берез. Когда разом оборвалась, отступила назад стена леса, когда за кустарником зазеленели поля и поскотины — я не сразу поверил, что наконец-то мы вырвались из душного плена дороги с ее рывками, с ее провалами в болото, с ее ожесточенной тряской.

Лесовоз остановился у отводка. Я неумело распутал проволоку, оттащил в сторону скрипучий отводок, пропустил машину. Мимо проскочила первая изба с заколоченными окнами, какой-то древний амбарчик,— мы въехали в деревню.

В простодушном любопытстве к стеклам прильнули лица старух и ребятишек. Поэтому меня не удивило, когда в одном окне^{дольше} других белело чье-то лицо. Но именно у этого дома — перед ним не было ограды — Грачев завернул во двор и въехал на просторную лужайку. Мотор заглух. Еще минуту шофер оставался неподвижным: ссутулившись, он обнимал баранку руками, как крыльями, отяжелевшими в долгом полете. Потом спросил, повернув козырек ко мне:

— Ну, земляк... Здесь будем ночевать или дальше поедем? — Глаза притенены кепкой. Голос его был глух, безучастен.

— А сколько до Усоля?

— Километров сорок...

— И все лежневкой?

— Нет, лежневка за деревней кончается, но дорога худая — скрывать не стану.

Грачев сидел, опираясь руками на баранку, хотя в словах его я уловил что-то вроде затаенного нетерпенья. Как можно суше я ответил:

— На сегодня, дорогой товарищ, с меня довольно.

— Будь по-вашему. Как это в армии говорили: кончай ночевать — выходи строиться!

Грачев оживился, повеселел и, легко нажав ручку дверцы, первым спрыгнул на землю.

— Принимай, хозяйка, гостей,— сказал он с радостной дрожью в голосе, когда мы вошли в избу.

У стола виднелась женщина. Она не всплеснула руками, не захохла, а только качнулась вперед, как пламя свечи на притворе. Затем поздоровалась, протянув маленькую, сильную ладонь.

— Тоня,— увидев ремешок фотоаппарата, смешалась, поправилась,— Антонина Алексеевна.

Я беззастенчиво разглядывал ее. Сильно выгоревшая, когда-то голубая кофта женщины, ее темная юбка, а главное, приветливый, хотя и напряженный взгляд — все это несколько разочаровало меня. Каркающее словно, услышанное в леспромхозе, успело глубоко засесть в моем созна-

нии, настраивало — вольно или невольно — на некий беззаботный, подчеркнуто-доверительный лад. Но первая же встреча показала мне, что здесь не нужна ни моя обходительность, ни моя догадливость. Была женщина проста и в обликии и во всем поведении. Круглый овал ее лица, мягкие, точнее — теплые края губ, встревоженные глаза выдавали характер отзывчивый, добросердечный. Но больше всего меня поразила ее улыбка, скрыто блуждавшая в уголках доверчивых губ, возникающая каждый раз, когда к тому был хотя бы малейший повод.

Грачев внес чемоданчик. Ни ватника, ни застиранного, залатанного платка с остатками обеда с ним не было. Я сел на широкую лавку возле окна и только сейчас огляделся. Под локтем у меня стояла тумбочка и на ней стопка книг, прикрытых белой кружевной салфеткой. Таким же белоснежным кружевным покрывалом была застелена кровать с горой подушек. На выскобленных бревенчатых стенах я не увидел ни любительских фотографий, вставленных под одно стекло, ни грамот, ни дипломов, ни вышитых полотенец, свисающих с настенного зеркала, — ничего, что составляет убранство северной избы. Только чистые бревенчатые стены да старая пожелтевшая открытка с видом на Петропавловскую крепость.

Грачев окликнул меня за стеной:

— Будете умываться?

Ключевая вода была холодна и прозрачна. Холщовое полотенце, которое он кинул мне через плечо, отливало голубизной мартовского снега. Кусок мыла, как янтарь, желтел на щербатом блюдечке. Мне, выросшему на севере, не в диковинку была опрятность деревянной избы, но здесь в домовитости, в чистоте чувствовалось нечто большее, какая-то одержимость, какое-то сожаление о другой, не похожей на весь местный уклад жизни, не похожей на все, к чему человек давно должен был привыкнуть и все-таки привыкнуть никак не мог.

Стол был накрыт: потрескивала картошка на сковородке, в глубокой тарелке был истолчен, перемешан со сметаной зеленый лук. Солидно дышали ломти ржаного хлеба. Из кармана Грачева появилась заветная бутылка. Антонина Алексеевна, мягко и проворно сновавшая по избе, присела сбоку на табурет.

— Что же, со знакомством? — сказал Грачев, выдохнул и разом опрокинул стопку. Хозяйка тоже выпила свою, но без жеманства, без извинительного похихикивания, которое в здешних местах служит признаком хорошего тона.

Она выпила, задохнулась, затрясла ладошкой перед вытянутыми губами, а когда пришла в себя, то рассмеялась звонко и непринужденно. Я внутренне похолодел от этого знакомого, не позабытого с годами, так мучительно отрадного мне смеха. Ведь бывают же, нет, скажите по совести, ведь бывают же на свете такие совпадения? И пока Грачев говорил с хозяйкою, пока он расспрашивал ее о разных хозяйственных делах, о картошке, медленно всходившей в этом году, о председателе, который стал сильно запибать, о каком-то Иване Дмитриевиче, который все обещался написать, да так и не написал, я с неслабевающим напряжением ждал, когда же она рассмеется так же волнующе и звонко, как в прошлый раз.

Мы закурили. Табачный дым гнутыми, сизыми пластами потянулся в открытое окно. Уже совсем за вечерело, и на улице раздался мелкий дробный стук овечьих копыт, тяжелое мычанье, удары ботал, — хозяйка встала, легко выскользнула за дверь. Трава на лужайке, стены и крыши соседних изб, тополя с жестяной листвою — все горело медвяным вечерним светом. Внезапно Грачев оглянулся. Я тоже посмотрел в глубину комнаты: там, на пороге, заложив руки за спину, прижалась к пробую девочка-подросток. Она исподлобья посмотрела на нас и, не говоря ни слова, выскочила за дверь.

Грачев закурил новую папиросу и, долго разглядывая обгорелую спичку, пояснил мне:

— Верунька, Тонина дочь. Дичится она меня — не любит, — и вздохнул глубоко и замолчал снова.

Раскиснув в избе от сумеречной дремы, от монотонного тиканья ходиков, я вышел на крыльцо и с удовольствием подставил грудь сквозняку, который тянул с туманных низин. Наш лесовоз густо облепили деревенские ребятишки: по огромным колесам они взбирались на раму и, визжа и хохоча, спрыгивали на лужайку. Напротив, за лесовозом, торчал угол сараюшки, крытый потемневшей дранью. Возле нее валялись сосновые кряжи. Колун, глубоко всаженный в один кряж, блестел треснувшим топором.

Душевное успокоение, которого я не испытывал давным-давно, овладело мною на ступеньках этого чужого дома, в деревне, названия которой я толком даже не запомнил. Ребятишки исчезли мгновенно, как стайка воробьят: их голоса и крики доносились теперь с крыльца соседней избы. Босоногая Верунька гонялась за телкой, которая

бросалась в чужие дворы, останавливалась, опустив низко лобастую голову. И тогда Верунька начинала толкать ее в зад. «Ух ты, дьяволица!» — шипела она, пытаясь стронуть телку с места, поддавая ей коленом, упираясь обеими руками в лоснящиеся гладкие бока.

В воздухе стояла та чуткая сиреневая полумгла, когда кажется, что вот-вот должно случиться нечто неожиданное, умиротворяющее все эти нестройные звуки — и стук отбойного молоточка, и рокот ручного жернова, и пофыркивание «Беларуси», и громкие голоса женщин, перекликающихся в загороде, и всю эту мирную, близкую до боли сумятицу деревеньки, отходящей ко сну, не имеющей сил расстаться с дневными волнениями и заботами. Оно, — это ожидаемое, — случилось! На крыши дворов, на темные шапки тополей, на дымящую теплым парком улицу пролилось таинственное сияние. И вскоре над сараюшкой взошла луна — огромная, охватывающая, как мне думалось, полнеба, тревожная в своей багряности, в своей огромности.

Задохнувшись от новизны увиденного мною, от страстного желания продлить бесконечно это дивное диво природы, которое было перед моими глазами, но было где-то вне моего понимания, вне моего разума, вне моего существа, уже привыкшего воспринимать все видимое сквозь напластования чужих знаний и чужих мнений, — я ждал, что и во мне, в моем собственном «я» все озарится этим трепетным багряным светом, что и во мне опадет, осядет все незначительное, пустяковое, ложное, недостойное меня и этой красоты, имя которой Вечность.

Очнулся я только тогда, когда Грачев тихонько тронул меня за плечо:

— Вам Тоня в избе постелила, а то ночью сыро-мокренно, — застыните неровен час.

Говорил он дружелюбно и спокойно, впервые так спокойно за целый день знакомства. Я молча поднялся с крыльца и ушел в избу.

Возле лавки стояла раскладушка, смутно белевшая простыней. Я разделся, сел на край кровати, со вздохом облегчения нырнул в холодноватую белизну. Перед закрытыми глазами встала дыбом и упала навзничь лежневка: меня закружило, понесло, бросило в глубокий омут сна.

Безбрежное море теперь окружило меня, и я не столько слышал, различал, сколько понимал, что волна, вкрадчиво шипя, захлестывает голову и плечи, что я вытягиваю вперед бессильные ватные руки и гребу, и гребу, изредка раз-

личая на горизонте ослепительно-яркую точку, которая внезапно приближается ко мне, вырастает в бешено крутящуюся воронку, втягивает меня, и все же в глубине этой воронки я вижу снова мерцающую точку, но, сбитый очередной волной, глотаю зеленоватую воду и не могу загазить ни этой точки перед глазами, ни внутреннего жара, полыхавшего во мне.

...Когда я проснулся, губы мои запеклись, ссохлись от жажды. Еще некоторое время я смотрел в темноту — она раскачивалась, колыхалась, потом остановилась: потолочные швы проступили в ночном мраке. Как был, в трусах, в майке, ощупью я стал продвигаться к двери, — в сенях находилась кадка с водой и большим эмалированным ковшом. Но в сенях, залитых высокой, полной луной, мне пришлось остановиться: на порожке четко вырисовывались две тени.

— Не могу, не могу, не могу терпеть! Не могу! — рыданье прорвалось в голосе женщины и она, захлебнувшись слезами, упала на колени Грачева. Теперь ее стоны звучали глухо, как сквозь воду: — Почитай, с самой весны не приезжал, с самой Победы, а я все жди, жди... Всполохнусь до свету, гляну в окно: может, приехал, может, стоит уже... Вечером слушаю, не гудёт ли за лесом, не едет ли... И за что мне такая мука? За что? Ну, что я такого сделала? — она заплакала навзрыд. Грачев положил ей руку на голову.

— Перестань, Тонюшка, перестань, слышишь, — повторял он шепотом.

Боль, которая таилась в его ласковых, беспомощных уговорах, остро пронзила меня. Замирая от мысли, что они могут заметить, что как-то нехорошо все это получилось, я не мог сдвинуться с места, не мог одолеть тягостного оцепенения.

— Ведь и сейчас, — продолжал Грачев, все более и более наклоняясь, целуя в затылок плачущую женщину, — ведь и сейчас-то я с ночной смены. Слышу, с журналистом надо ехать до Усолья. Вот я и вызвался. Пошел в контору, мол, лучше меня никто дорогу не знает. Инженер согласился, ему — что, лишь бы езду оправдать. А Суходеев, стерва, издеваться начал: к креке, дескать, опять направился. Я ему, как вернусь, ребра, суке, перелломаю...

От сбивчивого шепота, от незначительных выстрадаанных слов женщина вроде бы поутихла, поуспокоилась. Только глубокий прерывистый вздох, какой бывает у детей, когда их горько и жестоко обидят, изредка сотрясал ее.

— Крека я, крека и есть, — сказала она протрезвевшим, жестким голосом, подымая с колен Грачева голову и отстраняясь от него. — Но ведь люблю-то я тебя, понимаешь, люблю. А день в разлуке, он, сам знаешь, с год кажется...

И припала к плечу шофера, и совсем тихо, грустно-грустно добавила:

— Ты бы снял майку-то. Я обстирну, смотри, вся пропотела.

Не в силах больше сдерживать озноба, колотившего меня, я осторожно открыл дверь и незаметно юркнул в постель.

В избе с утра было пусто и сумрачно. Так же пусто и сумрачно было на деревенской улице, когда я вышел на крыльцо. Лесовоз стоял, как и вчера, возле сараюшки. Все было, как вчера, только высокая поленница дров была сложена теперь у стенки. Грачев копался в моторе и, заметив меня, кивнул носатым козырьком в знак приветствия. Когда мы сдавались задом, на крыльцо выскочила Верунька, хозяйская дочка, заложила руки за спину, проводила нас недоверчивым долгим взглядом.

...Заструилось, понеслось полевое разнотравье. Свежий ветер качнул спелые клевера, погнал их волнами. Какая-то птица, взмыв над кабиной, боком, словно подстреленная, пошла над дорогой и осталась сзади в быстро тающем клубке пыли.

За жердевой оградой поскотины началось картофельное поле. Среди сочной ботвы, тянущейся рядами, замелькали белые платки колхозниц. Одна из них, стоявшая у дороги, разогнулась: я увидел внезапно побледневшее лицо, слабую улыбку и невольный, сразу погасший взмах руки. Грачев краем глаза проследил за ней: желваки заиграли на его скулах. Он глубже натянул на лоб замасляную кепку и надбавил скорость.

Лесовоз въезжал в глухое мелколесье.



...Тропу заплела спелая рожь, и колосья с вкрадчивым порохом клонились к моему лицу. На бегу — я держался за подол материнской юбки — мне хотелось подпрыгнуть и оглядеть это знойное плавное колыханье. Но сколько я ни вытягивался — мне виднелись одни беспокойно кивающие колосья ржи да пушистые маковки осота. Я при-

томился в духоте ржаного поля, оттоптал пятки о каменистую землю, а тропинка по-прежнему волнисто бежала по бороздам, синё мерцала васильками. Мать шла быстро, и я, вцепившись в край подола, топтал следом такой вспотевший, такой радостно возбужденный, что мать, изредка оглядываясь на меня, не могла сдержать молодой доброй улыбки.

Было тихо, так тихо, как бывает в полдень в густой ржи, когда басок шмеля сонно гудит под ногами, когда не прекращается странное шелестенье то ли солнечных лучей, осыпающихся на землю, то ли колосьев, плывущих волнами.

Внезапно далеко-далеко за сухим, пепельным зноем что-то народилось, стронулось с места и покатилося гулкой горошиной. Горошина, подпрыгивая на ухабах, разрасталась, потом враз рассыпалась на множество звонких хрусталиков, — и я услышал храп коней, дробный ливень копыт, неостановимый говор колес.

— Что это, мам? — спросил я, подпрыгивая на бегу.

Мать держала на плече тяжелый чемодан и, не оборачиваясь ко мне, коротко сказала:

— Почта.

Она напряженно смотрела вдаль, боясь, что вот-вот в голубом сиянии озера закружится дымок рейсового парохода.

Горошина покатилась дальше, уменьшаясь, тая в неутомном шепоте ржи.

Мы вышли на Большую дорогу — так в наших местах зовут почтовый тракт, ведущий из Вологды в Кириллов.

Мать сняла с плеча чемодан, ловко усадила меня на него и села рядом передохнуть. Большая дорога взбегала на взгорок, пропадала за ним, появлялась и снова надолго пропадала, пока наконец не терялась среди крыш и иссиня-зеленых тополей Сямы. Оводы стремглав перелетали через нее. Лопухи мать-и-мачехи, одетые в лохматые шубы, пыльные обочины, замшелые валуны хранили напряженное молчание. Мать покусывала острую стебелинку. Она смотрела прямо перед собой, смотрела, уставившись в одну точку. И мое детское сердце сжалось от ее отсутствующего взгляда, от этой неизъяснимой дорожной тоски, и я, боясь разреветься в голос, стал тянуть ее за руку, безвольно лежащую на коленях:

— Ма-а-м... Ну, пойдём же скорее от них, мама!

Прошло много-много лет. Однажды судьба меня забросила в село — райцентр озерной округи. Зимние сумерки наступили быстро, и я, чтобы хоть как-нибудь скоротать вечер, вышел из Дома колхозника, где несколько часов подряд бездумно валялся на железной койке, нещадно курил и слушал, как бухают в стол небритые лесозаготовители. Они забивали «козла».

Ветер хлопнул заиндевелой дверью, сыпанул мне в лицо колючей порошей. Поземка, змеясь и шурша, переползала через шоссе, которое поблескивало обледенелыми колеями. Мгновенно меня ослепило светом фар, — снежный вихрь ударил в грудь, подхватил полы пальто, напрягся, опал, — кузов автомашины мелькнул мимо, и снова передо мной замигали желтоватые, оранжевые огоньки домов. Кому, скажите по совести, незнакомо чувство заброшенности, бесприютности, когда ты выходишь на зимнюю дорогу, поднимаешь воротник пальто, нахлобучиваешь шапку на глаза и месишь серое месиво под ногами? Кого не манили чужие окна? Кто не мечтал о свете абажура, оранжевого, да, пусть даже оранжевого, над чистой скатертью, о дымящемся стакане чая, о теплой руке, легкой тебе на плечо?

Только в тот вечер все это было не для меня.

Я довольно долго брел вдоль шоссе, отворачивая лицо от встречного ветра. Наконец за селом дорогу мне загородило кирпичное здание, увенчанное куполообразной крышей. Дверь оказалась приоткрытой, и я машинально взялся за скобу. В фойе — при зыбком свете фонаря — за стойкой громоздилась толстая буфетчица. Когда я стал

стряхивать шапкой снег, она, укутанная до самых глаз шалью, только полусонно поглядела на меня. Я осторожно приоткрыл дверь в зрительный зал. Впереди чернели головы зрителей, дальше — прямо на сцене — стояли керосиновые лампы. Было холодновато и как-то знобко в этой гулкой темноте. Под звуки расстроенного фортепьяно две легкие, как будто прозрачные фигурки выполняли гимнастические упражнения. Девушки в черном трико — глядя на них, я ощутил озноб — неловко поклонились и вприпрыжку убежали со сцены.

Долговязый парень в ковбойке, в широком, как римский меч, галстук, вынес стул, что-то поострил для порядка, зрители опять-таки для порядка посмеялись сдержанно и добродушно, — и все были довольны, потому что честно соблюдали правила хорошего тона.

В общем, мне стало нестерпимо скучно, и я откровенно жалел, что забрел в этот полупустой зал, что сижу здесь, а мог бы еще позвонить в райком и вырвать, несмотря ни на что, машину до Вологды. Но лень и безразличие охватили меня, и я сидел, безучастно уставившись на сцену, ожидая конца сельского действия.

— Учетчица совхоза «Красное знамя» Евдокия Соколенова, — с преувеличенным значением объявил долговязый парень. Баянист поставил на квадратные колени квадратный баян и повернул стриженую голову в ожидании.

И тут в неверном свете керосиновых ламп возникла тонюсенькая, ладная девушка. Ее простенькое платьице, ее газовая косынка, ее кудряшки шестимесячной завивки — все бесповоротно, с первого взгляда располагало к ней. Она передохнула от волнения и негромко вымолвила: «Романс Гурилева...» Ей не дали договорить: зал дрогнул, заплескался, словно осинник под внезапным напором ветра.

И все-таки не без внутренней горечи я смотрел на ее скрытое волнение. Наивный кружевной воротничок, наглухо охватывающий горло, поднял из глубины души густой, щемящий, вибрирующий голос великой русской актрисы. Черные крутящиеся диски раскручивались, разворачивались в гигантскую спираль, опоясывали землю и разносили этот властный голос по всему белому свету.

«Ах, Соколёна, Соколёна, — думал я, опершись подбородком на руки, чтобы удобнее было слушать. — Знаешь ли ты, как далека звезда, лучи которой ненароком залетели в твое село? Можешь ли ты представить себе, как беспре-

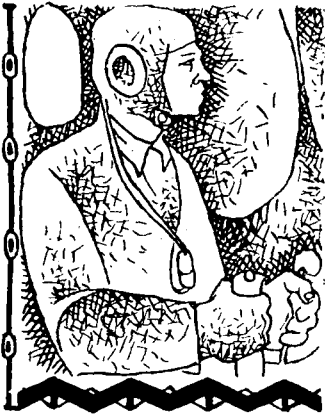
дельпо искусство и как мучительна дорога к вершинам его? Это большая, самая большая в жизни человека дорога, и нет ей конца ни за ближним бором, ни за дальней горой».

Но песня уже родилась, пришла без моего зова, без моего ведома откуда-то из глубины сцены. Голос Соколёны был высок и прозрачен, он был похож на серебристую полевую тропинку, которая волнисто бежит по бороздам, синё мерцает васильками и зовет, зовет за собою. Я закрыл глаза — передо мной качнулись спелые колосья ржи, пахнуло сухим зноем, мелькнула молодая улыбка мамы и покатилась, покатилась звонкая горошина, разбиваясь на осколки, переливаясь на разные голоса.

Мне стало грустно, словно я в чем-то обездолил себя, прошел мимо чего-то неповторимого, не понял, не угадал, не испил полными глотками жизненной отрады, горьковатой, как березовый сок в рощах детства, где так-то выщелкивали, так-то выпевали молодые соловьи.

Соколёна кончила петь. Я не сразу открыл глаза: мне было неловко наворачнувшихся на ресницы слез.

Ах, как досадно, как все-таки досадно, что лишь однажды я слышал колокольцы почтовой тройки.



Наш «борт» запаздывал с вылетом. Двигаясь вслед за тенью, я успел обшарить обе скамейки перед невзрачным домиком аэропорта, выучить наизусть расписание местных авиалиний, изобрести и отвергнуть множество вариантов собственного вызволения из этой, как мне тогда казалось в сердцах, несусветной дыры, а самолета Белозерск —

Вологда — хоть ты пропади! — не было и в помине. И только когда я твердо решил возвращаться в Дом колхозника, повернулось какое-то колесико в летном расписании, сработал какой-то механизм, и перед самым моим носом затрещал легонький ЯК.

Спешно протиснувшись в кабину рядом с пилотом, я облегченно вздохнул: ожидание и неизвестность — две подружки-неразлучницы — оставались на летном поле. Пилот достал планшет, поправил ларингофон, включил зажигание. Под крылом дрогнуло, заструилось, стремительно понеслось назад полевое разнотравье: ЯК, мягко подпрыгнув, оторвался от земли и начал набирать высоту.

Голубая стена Белого озера в последний раз напозла на стекла кабины и разом схлынула, уступив место медлительным перелескам и полям. Солнце садилось. Вечерние тени перехлестнули лесные поляны, даже больше — скосили набок всю местность, придали ей какой-то непривычный, неестественный вид. Мы летели в верховьях Шекснинского водохранилища, и теперь было отчетливо видно, каких трудов, затрат и каких потерь стоит человеку преобразование лица родной земли. Из-под тонкого слоя воды проступали пашни; дороги влетали прямо в темную зыбь, надолго исчезали под водой, чтобы, вынырнув, снова петлять по округе.

Постепенно земля пошла плавными волнами. Солнце опускалось в эти дымчатые волны. Оно казалось огромным красным глазом, бесстрастно взиравшим на валы земли, которые текли и текли под крылом самолета.

И впервые подумалось мне, как в сущности равнодушна природа и к своей бессмертной красоте, и к самому человеку, ко всем его делам, заботам и страстям. Перед туманным безбрежным океаном, раскинувшимся внизу, мое человеческое «я» стало стремительно уменьшаться, оно превратилось в пылинку, слабо и немощно парящую в высоте. А ведь эта высота ничтожна перед грозной и тревожной Вселенной, перед неисчислимостью иных миров.

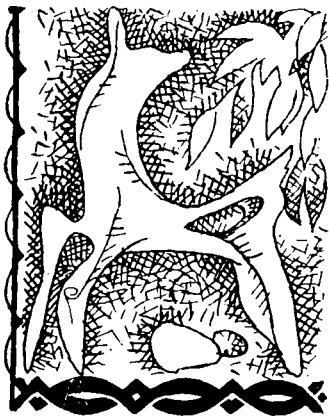
Я искоса посмотрел на пилота. Его грубоватое скуластое лицо было непримечательно, таких лиц немало встречается в северных деревнях. Кровь деревенских предков сказывалась в медлительных, но точных движениях пилота, в его манере держать штурвал. Возможно, в дни военного детства он так же крепко держал сошники плуга, а молодым парнем крутил баранку на непролазных вологодских проселках. Все возможно, потому что в его облике было что-то до боли знакомое и, не найду другого слова, родное.

Наш видавший виды самолетик был для него привычен, как привычна его брату жнейка или его деду соха. И тут я понял, что не так уж незначителен и ничтожен человек перед звездными пропастями Вселенной, если оратаи земли спокойно пашут заоблачные хляби. Как человек далекий от техники, я с каким-то особым уважением, даже восторгом отношусь к тем, кто по призванию или просто по профессии берет на себя ответственность за жизнь других, кому мы, пассажиры, доверчиво вверяем свои судьбы. На сколько времени — это не важно: мера ответственности водителя воздушного такси не меньше ответственности командира транссибирского лайнера. Ведь в воздухе не предугадаешь, что произойдет через минуту. Так было и теперь. Пилот, словно бы между прочим, кивнул мне вправо: то, что я увидел из кабины, поразило меня.

Половину свободного небесного пространства закрывала стена грозных туч. Над ней слабо поблескивали первые звезды, а подошва ее сливалась со свинцово-синими валами земли. В густом месиве ежеминутно вспыхивали кроваво-красные зарницы, так на фронте били орудия в ночи: две-три вспышки, перерыв, снова вспышки. Это сходство с залпами космической мощи поразило меня, — на земле молнии видятся иначе, в них нет судорожного багрового, опоясывающего горизонт блеска, который расслаивает, резко кромсает облака.

Самолет стал проваливаться в воздушные ямы. И хотя мы давно должны были приземлиться на вологодском аэродроме, наш Як все тянул вдоль грозового материка, все огибал и огибал его по некоей бесконечной, как мне думалось в полете, орбите.

...Ожидая со своими нехитрыми пожитками автобус, я видел, как пилот вышел из аэродромного домика с фибровым чемоданчиком, с каким ребята-спортсмены возвращаются с тренировки. Он не размахивал этим чемоданчиком, не насвистывал на ходу, не шагал вразвалку, а просто шел к автобусной остановке, как идет любой из нас, закончив рабочий день.



По озеру шли длинные пенные полосы. Ветер срывал гребни волн и пригоршнями брызг бросал их в лицо. Утираться было некогда: то правое, то левое весло судорожно хватало воздух, лодка сразу же становилась боком к набегающей волне, и тогда надо было снова выворачивать ее наискосок качающимся хлябям. Если лодку держать чуть наискосок перекату, она плавно соскальзывает с волны, а не рыскает из стороны в сторону; взлетающую вверх корму не захлестывает девятый вал, и нос лодки не черпает, как ковш, озерную брагу.

До берега было уже недалеко. Но очутиться в воде, а главное, утопить снасти, немудрое рыбацкое хозяйство,— эта возможность никак не устраивала меня.

Подгоняемый вспененными валами, я наконец-то с силой врезался в песок, соскочил в воду и стал тянуть лодку посуху до тех пор, пока хватило сил. Песок был утрамбован прибоем — на нем даже не оставалось моих следов.

Разгоряченный безостановочной греблей, я не чувствовал вначале ни пронзительного ветра, ни холодного песка. Насколько хватало глаз, прибойная полоса была безлюдна, и моя лодка, лежащая на боку, придавала берегу вид еще более заброшенный и пустынный.

Так вот он какой, Шелин мыс!

По рассказам других рыбаков я знал, что сразу же за прибойными песками тянутся заросли тресты, потом идут мшарники, поросшие осиной и болотной березой, потом леса и леса — вплоть до Уфтюги, а может и дальше.

Озеро гудело. Беляки испятнали даль. Линия горизонта крылась в туманной дымке. В такую непогодь о возвращении домой и думать нечего: снесет на Спас-Камень, а то и в самое Устье-Кубенское.

«Что ж, придется загорать», — невесело решил я про себя и только теперь почувствовал приступы озноба, безостановочно сотрясавшие меня. Чтобы разогреться, я вбежал на песчаный бугор, спустился с него и поразился

внезапной тишине. «Эх, наберу-ка плавника да разведу где-нибудь здесь, в тишине, костерок». Решено — сделано. Раздвигая руками высокую тресту, я выискивал место посуше, поуютнее. У старой осины, отчаянно трепещущей листьями, нагнулся за сухой валежиной, а когда выпрямился, то увидел два изумленных, круглых глаза, глядевших на меня в упор. На миг я остолбенел. Потом мелькнуло: «Да ведь это же олененок!» Он стоял так близко от меня, что, казалось, можно дотронуться рукой до мягких, четко вырезанных ноздрей, до крутого бархатистого лба. Еще какое-то мгновение мы смотрели друг на друга. Потом за олененком что-то тяжело и сильно качнулось, что-то прошуршало в тресте — и видение исчезло. Даже следы, когда я подошел поближе, засосала болотная ржа.

Возвращаясь обратно на пески, я нет-нет да и ухмылялся про себя, все удивленно мотал головой: ведь надо же такому случиться! Никогда прежде я не видел олененка на воле, а тут выскочили друг на друга, и стоило мне протянуть руку, как я мог погладить его по доверчиво-изумленной мордочке. Вот тебе и полное одиночество, вот тебе и кубеноозерский Робинзон!

На песке между тем повсюду валялись серые, отполированные, словно кость, ивовые ветки и корни. Я натаскал их целый ворох и свалил в кучу. Рядом вбил кол для чайника, разжег костер, подстелил под себя старый ватник. Хо-ро-шо!

Озеро гудело глухо и непрерывно, как гудит, вероятно, под ветром один лишь сосновый бор. Надо было набираться терпения и готовиться к долгому ожиданию. Волна могла стихнуть, пожалуй, к вечеру, это в лучшем случае, а то и к завтрашнему утру. Не торопясь, я поставил на костер чайник, выпил три кружки горячей воды, съел припасенный хлеб, перемотал дорожки. Потом, не зная, чем занять себя, полежал на спине, поднялся и стал выбирать ивовое корневище поувесистее и потолще.

Сидя у костра, я бездумно постукивал по песку гладким сухим комлем, потом попридержал его на весу и внимательно вгляделся. Что-то неуловимо знакомое мелькнуло в этом изгибе; я повернул корень — все исчезло. Снова восстановил прежнее положение — теперь яснее проступало увиденное вначале. Батюшки, да ведь это же олешка! Ну да, вот и нежная шея, и гордо вскинутая голова, чуткий вырез ноздрей — все, все, как это было недавно. Нужно, пожалуй, только подрезать вот этот сучок да чуть-чуть подстрогать — и лучше не придумаешь, сама мать-природа

изваяла из корня изумительный шедевр. Я поворачивал корень так и эдак, откладывая его в сторонку, снова брал в руки, но образ, поразивший воображение, не покидал меня теперь ни на минуту. Дальше медлить не было никаких сил. Охотничий нож в руке, корневище — на коленях. «Дерзай, новоявленный Роден», — усмехнулся я и приступил к делу.

Увиденное внутренним взором отчетливее проступало наяву: теперь поворот головы был выразительнее, ощущалось в нем любопытство и настороженность. Еще немного — и настороженность исчезла, осталось только любопытство и только доверие, даже больше — какая-то безотчетная ласковость чувствовалась в этой вытянутой вперед шее олененка. Больше ничего нельзя трогать, решил я про себя и, подхлестнутый волной безотчетной радости, выскочил на бугор.

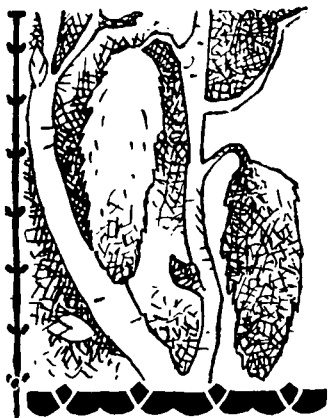
От резкого встречного ветра у меня перехватило дыхание. Озеро почернело, и прежде едва видимый горизонт застилала тяжелые дождевые облака. Прибой шел теперь по ивовым кустам. Они низко пригибались к воде, волны с грохотом проходили их, выворачивали замшелые коряги и, откатываясь назад, тащили эти коряги за собой.

Тяжелая работа прибоя, казалось, длилась целую вечность, ярость его была бесцельна и неутолима.

Я вернулся к костерку, который едва теплился, сел за ветром и потянулся к корню. Олешка, маленький, ласковый олененок, был теперь у меня в руках. Я уже думал о том, как поставлю его к себе на письменный стол, как придет мой сосед Василий Семенович и будет дивиться моей неожиданной находке. Нужно только вот здесь чуть-чуть убрать, и все будет в порядке.

Я резко нажал — от изваяния отскочила большая щепка. Все! Немыслимо нелепый корень я держал перед собой. Был он только кое-где обструган, но ничем больше не отличался от вороха таких же ивовых палок, которые лежали на песке возле замирающего костерка. Не знаю, вероятно, никогда раньше я не испытывал приступа такой горькой досады на самого себя, как в это мгновение. Ведь надо же, ах ты боже мой, ведь надо же такому случиться. И, кроме себя, винить некого!

...Когда поздним вечером я отчалил от Шелина мыса, в рваные прорехи облаков кое-где посвечивали первые звезды. Может быть, и правильно, что Шелии мыс назвали Шелиным мысом, думал я, склоняясь над веслами, может быть, этот самый неведомый мне Шелии и достоин этого, но про себя я назову его по-другому: Берег Олешки!



Стояла середина апреля. На опушке снег лежал мокрыми серыми полотнищами. Лес казался каким-то заброшенным, захламленным: на осевших сугробах виднелась ржавая хвоя, чернели шишки, топорщились ветки, оброненные соснами в зимнюю пору. Трава еще не пошла в рост, мертвенно желтея на прогалинах. Об-

рывы пахли сырой глиной. Лес, голый, вздрагивающий от озноба, роняющий крупные капли, был безлюден.

Мы остановились около ивового куста: соцветья на нем походили на мышат, у которых в воде намокла серая шерстка. Сходство было настолько очевидным, что ты сорвала ветку и стала отогревать ее в розовых ладошках.

— Посмотри, какие они маленькие, — сказала ты и вытянула губы.

А дорога с заледенелыми коленями уходила дальше в лес. Солнца не было видно сквозь туман, но, невидимое, оно прогревало воздух, заставляло все чаще и чаще посвистывать синичек. Вслед за синичками подали голос и другие пичуги. Лес оживал, стряхивал дремотное оцепенение, веселее свивал серебряные жгуты ручьев. С запахом талого снега, с горечью оттаявших осин, с треньканьем синичек шла в наш приозерный край весна.

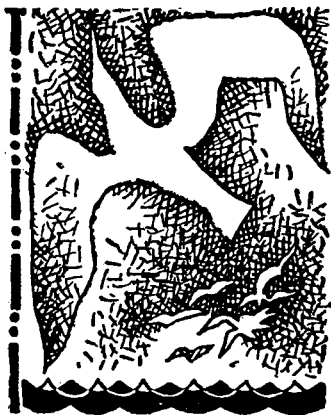
Вдруг в темной лесной утробе протяжно проскрипела сосна. Проскрипела, как простонала, словно вспомнила декабрьские холода и бураны. Но даже скрип сосны не мог заглушить разгорающегося птичьего веселья. Откуда-то в ответ ему донесся такой же звонкий скрип. И снова проскрипела старая сосна. И снова ей ответила другая.

«Что бы это такое могло быть?» — подумали мы одновременно и решили пройти к певучему дереву. Ведь лес был неподвижен. Оттепель унизала каждую ветку сверкающим бисером капель. Чуть коснешься — и капли, набегая одна на другую, сливаясь воедино, сорвутся в крупчатый снег.

Вот мы и подошли к сосне. Бронзовый, с темными подпалинами ствол стремительно рвался в поднебесье. Где-то там, в вышине, сосна раскинула могучие ветви, чтобы плыть столетья, оставаясь вросшей в суровую землю, и все-таки вечно плыть куда-то под парусами зеленой хвои.

На одиноком сучке, обломанном бурей, заострившимся словно копье, угнезвился маленький дятел. Невозможно было различить его окраску, — смахивал он, неподвижный и крохотный, на продолженье сучка. Птаха как будто прислушивалась к нарастающему гомону птиц. И вдруг выдала такую звонкую, частую дробь, что эта дробь далеко-далеко разнеслась по лесной округе. Нет, птица не пела: у нее не было голоса, и она понимала это, она была безмолвной и безголосой. Но певучий, насквозь пропитанный живицей сучок резонировал в лесу, словно старинная скрипка. И дробь была столь стремительной, что в отдалении сливалась в одну протяжную звонкую трель. Птаха радовалась весне, она любила!

Как же должна быть изобретательна и щедра природа, если даже безголосой птице, вечному труженику леса, она подарила свою песню — деревянную песню любви!



— Дядь Вась, а дядь Вась! — молоденькая почтальонша Нюрка во весь дух бежала к озеру. — Ты на сенокос, а, дядя Вася?

Василий Никитич хотел обернуться на ходу, но тяжелая станина подвесного мотора мешала ему. Он подждал Нюрку, пригнув голову, словно захомутанная лошадь.

— Чего тебе?

Запыхавшаяся Нюрка не в силах была вымолвить ни слова и только трясла перед ним какой-то бумажкой.

— Ну, чего тебе? — поторопил ее Василий Никитич.

— Телеграмма Отшенкову. Может, думаю, что срочное, — заторопилась почтальонша. — А у них — как на грех, дома никого нет. Уж я в загороде бегала... Нигде нет бабки Василисы, а хозяйка-то, слышь, уехала в город...

— Давай, — коротко оборвал ее Василий Никитич и, по-прежнему глядя в землю, сунул бумажку в карман ватника.

Нюрка постояла на тропе, посмотрела, как грузно ступал Никитич, шаркая отворотами резиновых сапог, повернулась и медленно пошла обратно.

Потом еще раз обернулась. Лодка Никитича, покачиваясь на волнах, нехотя отдалялась от берега. Сам он размашисто дергал ремень завода. Нюрка успокоилась и вприпрыжку пошла к деревне.

Мотор взревел. Никитич, сбавив газ, еще потоптался на корме, потом уселся на заднюю скамейку и, выписав большую плавную дугу, направился в заозерье.

Время от времени левой рукой он нажимал на резиновый шланг, подкачивая бензин, а правой крепко держал рукоятку мотора. Смотрел он поверх задранного носа лодки туда, где дымилась зелень кустарника. По обе стороны горизонта зелень тончала, синела, сходила на нет и где-то у края земли повисала в воздухе слабым многоточьем. От буйства воды и солнца у приезжего человека, наверно, закружилась бы голова. Но Никитич с детства привык к озеру. Он не представлял себе, как можно жить без этого

ослепительного сияния голубой воды, без этих неподвижных облаков, без этой знакомой и все-таки неизменно влекущей к себе кромки далекого берега.

Совсем другое волновало Никитича. Лодку подгонял попутный ветер, она плавно взбиралась на волну и так же плавно с нее соскальзывала. Этот попутный ветер и огорчал Никитича больше всего. Он знал: лодка обгоняет волну, и, как машина, идущая на подъем, напрягается до пределов, так и лодка, взбираясь на спины валов, дрожит от напряжения. Никитич боялся пережечь бензин: трудно-вато нынче стало с горючим. Все теперь обзавелись моторами, всем подавай то бензин, то масло.

Чтобы как-то отвлечься от досадных размышлений, Никитич стал думать о сенокосе, о мужиках, которые остались на пожне. Он вспомнил Отшенкова, многодетного, работающего соседа, его тихий нрав, его неуверенную улыбку. Улыбался Отшенков редко, скупно поблескивая металлической пластиной. Свои зубы он потерял в блокаду под Ленинградом и столько лет не мог привыкнуть к вставным. Никитичу стало жаль мужика: везет он ему невесть что в телеграмме. И дернул его черт остановиться на берегу. Да эта оглашенная девка вопила так, что мертвый бы ее услышал.

Никитич полез за папиросами и вместе со спичками достал из кармана вдвое сложенную бумажку. Не раздумывая много, он развернул ее и прочитал: «Все пять — на пять — Оля».

— Тьфу ты, дьявол, — Никитич даже сплюнул в сердцах. Ведь надо же такими глупостями отнимать у людей время. Это из какой же немислимой дали отстучала Оляка дурацкую телеграмму? И что в ней такого? Белиберда какая-то. Пошла нынче молодежь, нечего сказать, все с вывертами, с фокусами разными, с фортелями.

Насупясь, Никитич запихнул телеграмму обратно в карман. Давно ли эта Оляка по двору бегала, сверкая ягодичками — платьишко продувное, застиранное, сама, как галчонок, остроносая, чернявая. А теперь фу-ты ну-ты — «все пять на пять». Семка у него такой же: «Шлю пламенный сахалинский привет». Нет бы отцу прислал на пол-литра. Да и то подумать, без всякого перехода решил Никитич, добро хоть родителей не забывает, на каждый праздник поклон плет...

Прибойная волна сильно гнала лодку к берегу. Отмель была пустынна, только на камнях, выставивших из воды серые хребтины, сидели чайки.

Никитич сбавил газ,— лодка, прошуршав днищем по песку, ткнулась в берег. Пока Никитич выволакивал ее из озера, она вырывалась из рук, моталась из стороны в сторону, как необъезженный конь.

Оставляя на песке рубчатые следы, Никитич прошел вдоль отмели, перевалил за песчаный бугор, вышел на пожню. Под лучами закатного солнца нежно желтели ольховые кусты, истекали охрой стога сена.

И все вместе и каждая травинка в отдельности были какими-то особенно зримыми, отчетливыми, такими, что хотелось рукой потрогать колючую, щетинистую стерню.

Недалеко за кустами стрекотала сенокосилка, слышался конский храп.

— Отшенков! — позвал соседа Никитич. — Поди сюда!

Тот, прикрикнув на лошадей, вышел из-за куста и направился к Никитичу, спотыкаясь о кочки, на ходу вытирая рубахой вспотевшее лицо.

— Телеграмма тебе. Нюрка велела передать.

На пожне, в медно-красном озарении сошлись две тени,— одна неуклюжая, грузная — Никитича, другая — поменьше, потоньше — Отшенкова. Водитель сенокосилки бережно развернул помятый лист, прочитал телеграмму, вскинул глаза на Никитича, не веря прочитанному, снова пробежал короткую строчку. И вдруг его загорелое, потное лицо беспомощно дрогнуло и стало расплываться в такой безудержной, такой произвольной улыбке, что, глядя на него, и Никитич осклабился широко и добродушно.

— Ну, чего там?

— Эх,— с досадой, уже оправившись, сказал Отшенков,— вот жалость, маленькую-то не прихватил.

— По какому еще поводу?

— Да от Олюшки телеграмма-то, от старшей дочери. Все пять экзаменов на пятерки сдала. В институт девка поступила,— помедлил и, будучи не в силах сдержать застарелой робости и волнения, твердо добавил: — В Москву.

Из-за песчаного бугра с криком поднялись чайки. Они взлетели стаями, но вот одна, сильно взмахнув крыльями, метнулась в сторону, стала подниматься выше, выше над желто-зелеными шапками ольхи, над пожней, выстриженной ровными рядами, над фигурками двух мужиков, стоящих друг перед другом, над озерной ширью, пока наконец не скрылась, не растаяла яркой снежинкой в синеве неба.



Начальник партии был хмур и неразговорчив: третий раз за неделю приходилось менять табор, а значит, терять целый день. Высветленный солнцем, сонный от безветрия и августовской теплоты, этот день дразнил его бесцельным великолепием, обещал спокойный, тихий закат. А ведь здесь, на севере, как бывает: с утра — солнце, в полдень, глядишь, затянуло небо облаками, а к вечеру напозет такая — невозможно даже высказать — такая мразь, беспросветная сырость, что, кажется, не будет ей ни конца, ни края. Ветер подхватит изморось, захлещет по озерам, по мокрым бокам валунов, по стволам сосен, забьет глаза. Вот тогда и поработай на лесных выделах. А сейчас, когда надо перебираться на новое место, откуда что и взялось — солнце сияет, валуны теплы и шершавы, багульники пышны, а заозерные леса так заманчивы, что невозможно отвести глаз.

Чтобы не растравлять себя, начальник стал следить за погрузкой. Рабочие спешили. Они торопливо и небрежно собирали таборные пожитки, снуя по береговому откосу.

Одна за другой, качнувшись, запузырив брезентом, рушились палатки. Их сворачивали вместе с веревочными таями, с колышками, ослизшими от сырого мха, с коробками из-под гильз, набитыми во внутренние карманы.

Спальные мешки спешно засовывали в чехлы и, перекидывая тюки из рук в руки, бросали на днище алюминиевой моторки. Прокопченные кастрюли, ведра, тарелки с грохотом складывали в нос рыбацкой лодки, которую таскали на буксире за моторкой. Постепенно табор пустел. Обнажился примятый, но еще зеленый настил под днищами палаток, осиротел костер, открылись стволы сосен, — на них висели ватники, полотенца и зеркала для бритья.

Наконец-то лодки, доверху груженные скарбом и людь-

ми, тронулись по мелкой воде. Начальник безучастно сгорбился и уставился прямо перед собой. Он ни разу не оглянулся назад, хотя другие с каким-то щемящим чувством смотрели, как ширилась голубая полоска воды, как отдалялась и отдалялась от них сосна, поваленная в воду буреломом, — место недавнего приюта.

С дымком первой папиросы это чувство развеялось, растаяло в дреме августовского полдня. Оно мимолетом возникло как будто для того, чтобы сильнее оттенить жажду новизны и сладость дорожного ничегонеделанья, которое постепенно охватывало сидевших в лодке. Путь предстоял дальний, и рабочие устраивались поуютнее среди ведер, ящиков, мешков и прочего лагерного имущества.

— А Мальчика-то забыли?! — удивленно воскликнул самый молодой из рабочих.

Действительно, по берегу мелькало желтое пятно. Оно исчезало и возникало вновь, словно закатное солнце, которое опускается в темный лес и временами врывается в окна железнодорожного вагона.

Сидевшие в рыбацкой лодке разом обернулись. Выскочившая на увалы, прыгивая к воде, за ними бежал таборный пес. Иногда он скрывался в багульнике, иногда появлялся па отмели, и тогда было видно, как велики его скачки, как сильно вытянуто в полете тело. Несколько раз он забегал в воду, но лодки уходили от него настойчиво и неуклонно, и желтое пятно вновь начинало отчаянно мелькать в зеленовато-сизой мгле берега.

Пес был приبلудшим. Вернее, парни из табора прихватили его где-то около Устья, втащили в кузов автомашины и привезли на озеро. Пес привязался к людям, охотно откликался на любую кличку и не выделял никого особенно из партии. Прозвали его, не мудрствуя лукаво, Мальчиком. Старые хозяева, судя по всему, собаку нещадно били: при резком движении пес пригибался к земле, втягивал голову между лапами и торопливо — задом-задом — уползал в болотные кочки. Его никто не баловал, никто не ласкал, но и никто не обижал. Жил он на таборе сам по себе.

Любимым занятием Мальчика было довольно-таки бесцельное рысканье по лесу: внезапно появлялся он на дальних выделах, вертелся под ногами, мешал рабочим, а потом надолго исчезал в чахлам мелколесье. Он принад-

лежал всем и никому в отдельности, как, впрочем, и многое из таборного имущества. И отношение к нему было таким же временным, как к палаткам, топорам, рулеткам, даже больше — ко всей этой непостоянной кочевой жизни, которая здесь, в северных лесах, была одна, а где-то там, за озерами, болотами, тихими реками, совсем другая.

В одном месте озеро образовало широкую горловину, и моторка, оторвавшись от правого берега, пошла наискосок к левому. Пес добежал до кромки воды, кинулся в нее с разбега, вернулся, выскочил на откос, потом опять бежал к воде. Он не знал, куда повернет моторка. Но отчаянье побороло в нем нерешительность и через миг острые уши уже торчали из воды. Бешено работая лапами, Мальчик выплывал на середину озера, — по его разумению так было вернее, так он мог дольше видеть лодки.

Поднялась легкая зыбь, и вскоре голова собаки пропала в голубовато-свинцовой дали.

Начальник, сгорбившись у руля, был безмолвен и безучастен ко всему происходящему. Никто не решился напомнить ему про пса, перекричать протяжное гудение мотора.

На рыбацкой лодке кто-то откинулся на мешки, закрыв глаза от солнца кепкой, кто-то закурил и все как будто забыли про торчащие из воды темные собачьи уши. Но по тому, как словно бы ненароком каждый оглядывался назад, было очевидно, что никто ничего не забыл, но только все не знали, что делать в перегруженной людьми и таборными пожитками лодке.

— А ведь Мальчик-то выплыл! — обрадованно крикнул все тот же самый молодой из партии.

— Где? Где? — рабочие оживились, разом смахнули притворную дремоту.

Теперь уже не по правому, а по левому берегу замелькало желтое солнечное пятнышко. Оно постепенно приближалось, росло, но возле длинной отмели моторка внезапно развернулась и пошла наперерез волне к далекому заозерью. Все помрачнели, насупились и с тягостным чувством стали глядеть, как пес выскочил на отмель и неподвижно встал у воды. Моторка уходила в заозерье, уходила, чтобы никогда не возвращаться на старый табор.

Песчаная отмель сливалась с зелеными наплывами леса и готова была вот-вот исчезнуть совсем, когда с берега донесся протяжный вой. Он был суров и требователен, этот

вой, он не срывался на визг, он оглашал озеро трубным воплем, и жутко и нестерпимо стыдно становилось людям. Кто мог подумать, что веселый, разбитной, трусоватый малый — таборный пес способен с такой силой тосковать и рваться к людям, которые не то чтобы ласкали или привечали его, — где уж там, хотя бы не били, не гнали от себя.

В успокоительном пении мотора, в глухих шлепках волн о борта лодки смолкли крики оставленного на отмели пса.

Снова по крутому откосу, соскальзывая и падая, люди таскали тюки и ящики. Снова весело трещал сухим валежником костер. Снова одна за другой вздымались верха палаток и звенели топоры от ударов по колышкам. Но самый молодой и кучерявый уже выгребался в озеро, часто взмахивая веслами, как продолжением загорелых мускулистых рук.

Только к вечеру, когда верхушки сосен четко впечатались в багряное, немисливо огромное солнце, на озере послышался усталый, победный скрип его уключин.



Резиновые сапоги зачавкали по илистому дну, забулькали мелководьем, — напарник оттолкнулся и стал грузно переваливаться через борт. «Тише ты», — бросил ему Сергей хрипловатым от первой сигарки голосом. Он махал кормовой лопатой, выравнивал лодку и направлял ее к устью Ковжи. Было так тихо, что слышался звон капель, па-

дающих с весла, и легкое журчание воды под днищем лодки. Только в прибрежном тумане разноголосо кричали петухи. По их внезапным вскрикам угадывались крайние дворы деревни, которая крепко спала, закутавшись в шубу ночного тумана. Этой же туманной мглой покрывался левый, низменный берег. Лодка плыла в парной, белой тишине, вернее, эта тишина нехотя наплывала пластами на лодку и сразу же смыкалась за кормой. Ватник отсырел. Скамейки и снасти покрыла серебристая испарина. Все глуше и глуше слышался победный петушиный крик, все сильнее охватывало рыбаков чувство близкого протора.

Лодку слегка качнуло на длинной, пологой волне: они выгреблись в озеро. Теперь надо было найти невысокий колышек, который отыскать в этой слоистой мгле не было никакой возможности. И все-таки велика сила интуиции. Измочаленный кол вынырнул из тумана и поплыл возле борта. Они привязались к нему, закинули удочки, притаились в ожидании. Снова лодку качнуло на далекой, пришедшей откуда-то из заозерья волне, и Сергею подумалось, что не так ли иногда качнет волна прошлого, нежданно-непрощенно подыметя из глубин «я» и захлестнет спокойную гладь души.

Привкус паленой бумаги во рту, сухая резь в глазах от бессонницы — все подымало, все гнало с полузабытого берега плавную, но не остановимую в своем раскате волну. Сергей закрыл глаза.

Гром дизельного мотора сразу же обрушился на него. В прорезь башни вползла снежная целина, запахло дымом

газойля и пороха. Танк содрогнулся от выстрела — звякнула рядом медная гильза. Потом перед глазами раскололся огненный смерч, яростно загудело пламя — и сознание стало меркнуть в ослепительных кругах и разводах.

«Ты что, задремал?» — сквозь пронзительный посвист вьюги услышал он знакомый голос. Смысл слов доходил трудно: уши забило чем-то, и сам Сергей был укутан в белые сугробы. Но слова уже зацепились за сознание, потянули его из глубокого омута забытья. Марлевая пелена стала сползать с глаз, рваться в клочья, и в просветах свежо заблестела озерная вода.

Еще окончательно не очнувшись, Сергей тупо посмотрел прямо перед собою: удилице лежало у него на коленях, обожженная рука безвольно выпустила его.

— Клевало у тебя, — с упреком сказал напарник, соседский Шурка, — а ты — спать!

Сергей сменил червяка, далеко закинул леску — поплавок звонко шлепнулся о воду. Дремота освежила Сергея, и теперь он заново, пристально и возбужденно, вглядывался во все, что его окружало. Близился рассвет. Рубцы на правом виске ощутили легкое дуновение. словно белые флаги, взлетали вверх полотнища ночного тумана, и алый свет — предвестник близкого солнца — разливался вокруг свободно и неостановимо. Этот алый свет смешивался с акварельной синевою воды и неба, от него порозовела и лодка, и кисти рук, и бледное, напряженное лицо Шурки, согнувшегося на носу, и даже маленький белый поплавок источал розовое сияние.

Он все густел, этот алый свет, все напрягался и вдруг выбросил вверх вороха радужных перьев. Тогда-то над озером и показался край солнца. Непрерывно струясь, растекаясь волнами, пламенный гребень приковывал к себе взгляд какой-то почти языческой силой, не давал оторваться от себя ни на одно мгновение.

Никогда — ни раньше, ни позже — не доводилось видеть Сергею такого рассвета.

Откуда-то из-за горизонта набегающим прибором вытолкнуло рыбацью лодку.

— ...беда! — донеслось до удильщиков. Оба привстали, недоуменно переглянулись и напрягли слух до предела. По частым взмахам весел было заметно, как, не жалея себя, выгребал к ним человек, как он безостановочно оглядывался на них и снова принимался кричать.

Голос летел над слюдяной гладью озера, летел и гаснул, пока наконец не удалось расслышать:

— Эй вы, что вы сидите! Война окончилась! Победа-а-а!

Торжествующее «а-а-а!» катилось к ним вместе с лодкой, вместе с раскаленными лучами солнца, которое, едва оторвавшись то кромки воды, теперь круто взбиралось по небосводу. И так же круто летел ввысь, заполняя все небесное пространство, голос человека, кричавшего в радостном беспамятстве:

— Побе-да-а-а!

Не смежая обгоревших век, Сергей пристально глядел на лодку, на пылающее светило, на выпуклую, голубоватую даль озера и не чувствовал, не видел, не понимал, что по щекам его текут слезы, что текут они вовсе не потому, что на майское утреннее солнце невозможно было смотреть не мигая, а потому, что пришел, наконец-то наступил этот рассвет.

Деревню качало. Окна, двери, калитки — настезь. Звон посуды, всхлипы гармошек, дробь каблуков, пронзительные выкрики песельниц слились в один ком, и этот ком катился за околицу, рассыпался в чистом поле, снова возникая возле пристани и снова прокатывался по посадкам. Возле резных наличников молодо алел кумач флагов, по садам и проулкам дымилась нежная, весенняя зелень.

В полдень к пристани подошел рейсовый пароход. Матросы и пассажиры сгрудились на верхней палубе, вразнобой что-то кричали на берег, где так же беспорядочно галдела пестрая, праздничная толпа.

Сергей не помнил, как его вынесло на береговой откос. Он никого не ждал, но его подхватило, словно камышинку, ввинтило в людской водоворот, а затем выбросило к пристанским сходням. Теперь, окруженный со всех сторон односельчанами, он праздно наблюдал, как вахтенные подтащили трап, как от гудящего роя пассажиров отделились и поплыли над головами мешки, чемоданы, какие-то корзины, обшитые рядом, как осторожно подымались вверх по сходням приехавшие люди.

Внезапно он ощутил, что дыхание резко перехватило в груди: по трапу, среди баб со сбившимися платками, с раскрасневшимися от весенней жары лицами, подымалась Уля. Она щурилась от ослепительного солнца, от цветного многолюдья, растерянно улыбалась и, видимо, выискивала глазами кого-то из своей родни. Сергей отчаянно заработал локтями, пробиваясь к перилам сходен. Уля

теперь была совсем рядом, — ее взгляд по-прежнему рассеянно скользил по лицам земляков. На какое-то мгновение взгляд задержался на нем, скользнул дальше, снова вернулся, — и тогда в ее серых глазах сверкнул испуг, самый откровенный испуг молодой женщины, которая увидела что-то нелепо оскорбляющее красоту этих оживленных лиц и этого сверкающего голубизной и солнцем майского полдня. Это было, как промельк молнии, произвольный и неожиданный.

Встретившись глазами, они узнали друг друга, узнали и поняли все. Она — что он ничего не забыл и все оставил на будущее; он — что она тоже ничего не забыла, но прошлое отчеркнула непереступимой чертой. Его шрамы, багровеющие на солнце, лишь укрепили ее в давнем, обдуманном и пережитом решении.

Сзади сильно нажимали. Откуда-то из чрева толпы раздался сдавленный женский крик:

— Уленька!..

Сергея оторвало от сходен, отнесло в сторону: он так и не успел поздороваться с Улей, обмолвиться с ней хотя бы словом.

К вечеру подул сиверок. Заклубилась на улицах первая майская сушь, захлопали полотнища флагов, запузурились юбки девчонок и баб, пьяно топчущихся возле пристани.

От выпитого самогона, от банного, слитного гула в избах, ото всей этой яростной пестроты нарядов и лиц у Сергея зашло сердце и разболелась голова. Он долго сидел на жердях поскотины, смотрел, покусывая сухую былинку, на сизые облака, залегшие обогреться у затухающего заката, на его тревожный, густо-малиновый блеск, а когда небосвод прокололи алмазные шилья звезд, ушел спать на сеновал.

Накрывшись тулупом и беспокойно ворочаясь с боку на бок, он иногда нащупывал в темноте смятую пачку папирос, закуривал и, по-прежнему не открывая глаз, лежал лицом вверх, перебирал в памяти все большие и малые события этого ослепительного дня. Откуда-то из тьмы наплывали на него Улины глаза, крупнее, крупнее — и вот он, произвольный, безотчетный испуг, потом снова тьма, и снова пестрое кружение лиц, деревьев, медленно набегающих озерных волн. В тайниках души, в лад гулко пульсирующей крови забились первые беспомощные слова: «Вот человек. Вот человек. Вот человек...» Но чем дальше, тем громогласнее уже не молоточком, а молотом била

по вискам кровь — и молотом по сердцу била первая строфа:

Вот человек — он искалечен,
В рубцах лицо.

Но ты гляди
И взгляд испуганно при встрече
С его лица не отводи.

Самое трудное, мучительно-горькое было сказано, но ведь это еще не все, ведь было у него сегодня что-то такое, что неодолимой силой удерживало его собственный взгляд. Что было сегодня? Что надо отместить, отбросить, а что изъ всей сумятицы пережитого надо вспомнить, обязательно вспомнить? Где и когда родилось у него это ощущение грандиозности, которое не покидало его даже там, у пристанских сходен? Как сказать об этой грандиозности, об этой несравнимости минувшего дня?

Кроме алого струящегося света, больше ничего не вспоминалось. Этот алый свет, казалось, прожигал закрытые веки, слипшиеся от обидных слез, он навеки отпечатался на сетчатке глаз. «Победа-а! — истошно вопил в памяти человек. Он стоял в лодке, а за его спиной полыхал огненный шар. Он не думал о себе, этот случайный вестник победы, он радовался только одному, он хотел только одного, чтобы она была, как этот майский рассвет,

Чтобы она была такая:
Взглянуть и глаз не отвести!



Устье реки Кубены — в тихом порохе кустарников. Среди скошенной осоки поблескивает вода в заводях и протоках. Слепит солнце, и кажется, дымка, легшая на округу, заряжена особой светоносной энергией.

Резко кричит вьюша — озерная чайка. Широкими кругами проходит она над чистой водой, над шапками ивняка, над утиным гомоном и плеском.

Мой сосед из озорства вскинул было двустволку.

— Не бей. Все равно ей не перезимовать, — остановил его Федор Иванович. — Пусть жизни порадуется.

Как он был прав, наш дядя Федя. Позже я узнал, что вьюши рано улетают на юг, еще в конце августа. Но бывает, самые выносливые, поверив теплым закатам и густым зеленым, отстают от стай. И кружатся до первых заморозков над брошенными гнездовьями, пока не скроются навсегда в густой, снежной пелене.

...Несколько дней назад ночным поездом мы выехали из Москвы. Мы — это Федор Иванович Панферов, Владимир Васильевич Фролов, Аркадий Славутский и егерь Владимир Иванович, человек с бородкой-эспаньолкой, обходительными манерами и обширными познаниями во всем, что касается охоты и рыболовства. В Вологде к нам присоединился Сергей Викулов. Кроме меня и Сергея Викулова, никто в этих краях раньше не бывал. В селе Устье-Кубенское мы должны были провести читательскую конференцию, а заодно, что греха таить, и поохотиться, отдохнуть хотя бы пару дней от редакционных зовещаний и телефонных звонков. Так мы очутились на пойменных лугах, освещенных блеклым осенним солнцем, и увидели чайку, кружащуюся с пронзительным криком над водой.

Охотники готовились к вечерней тяге. Под кустами, далеко друг от друга, они соорудили нечто вроде шалаши-

ков, натаскали сена, разложили огненные припасы и остались одни. Сказать по совести, я не испытывал особого желания бродить по трясине или часами коченеть перед зыбким зеркальцем протоки. То ли дело рыбалка! Вот почему вдвоем с мотористом мы остались коротать время в каюте моторной лодки.

В нашем озерном крае без лодки не обойтись. Местные жители, едва появляется в доме достаток, приобретают не мотоцикл и автомашину, а подвесной мотор. Подвезти ли дров, съездить ли за сеном, махнуть ли в гости к соседу, а то и просто порыбачить на озере — без мотора, как без рук. Райкомовский же катерок был дан нам временно, для охоты, и являлся весьма примечательным сооружением. Дряхлый моторчик с «газика», фанерная кабина, заштопанный, залатанный корпус — вот что осталось от бывшей гордости моториста, который сам до последнего винта собрал эту «табакерку».

Совсем завечерело, когда охотники вместе с Ф. И. Панферовым вернулись к моторке. Трофей у них были не ахти какие богатые, но рассказов, как всегда, хоть отбавляй. Только Федор Иванович пасмурнее, чем обычно, молчал.

Небеса просеивали дождевую пыль, ветер шастал по кустам и гнал мелкую волну. Оживление прошло. Неуютно, зябко, сыро было в фанерной коробке, вздрагивающей от порывов ветра и глухих ударов моторчика. Глаза невольно выскивали в крошечной дождевой мгле хотя бы одну золотишку света. Думалось о тепле, о квартире, о родных, собравшихся за вечерним столом. «Скорее бы, скорее бы, что ли...» Но моторчик чихнул раз-другой — и смолк. Непрерывно раскуриваемые папиросы освещали наши напряженные лица.

— Маслопровод пробило, — только и сказал моторист, зажигая закопченный фонарь.

Лодку покачивало все сильнее — очевидно, ветром нас сносило из устья реки в озеро.

Промозглой ночью в утлой моторке мы были откровенно беспомощны перед водной стихией. В десятке километров — райцентр, там наша база — катер «Сухона», прямая телефонная связь с Москвой, а здесь — непроглядная темень, неизвестность и шипение вспененной волны. Кричи не кричи — голос сгаснет в нескольких метрах. Становилось тоскливо от этой несуразности, от барабанной дробы дождя, от угадываемых во мраке бесконечных, безлюдных плавней.

— Сергей! — голос Федора Ивановича зазвучал неужи-

данно молодо и сильно. — Ты знаешь, как мой земляк предколхоза слушал?

Мы задвигались, заулыбались. Панферов — превосходный рассказчик. Истории из народной жизни, байки и притчи он всегда завершал неожиданными концовками. Одним-двумя словами он лепил облик человека, помогая себе жестом, интонацией, позой. Вот почему пересказать то, что он говорил, почти невозможно.

— Мой земляк — медведь. Во такой, — и сутулился, и поворачивал голову вместе с туловищем, и хитро, помедвежьи, помаргивал глазками. — Сидел как-то этот земляк на собрании. Колхоз у них горевой, никудышный колхоз. В правлении накурили — топоры вешай. Мужики ждут, известно, одно: сколько же им на трудодни достанется денег да хлеба. А председатель хитрит — два часа толкует насчет куриного помета. Инструктор райкома встал — и тоже о курином помете понес. Сами колхозники рассуждают, каким манером они будут этот самый куриный помет собирать. И только земляк все силился, силился спросить о трудодне. А когда за поздним временем собрание закрывать стали, поднялся он со скамьи да и брякнул: «Ежели насчет помета, так я первый согласен: весь курятник нонче же выгребу».

На том и собрание прикрыли... до следующего года.

Истории следовали одна за другой, и в каждой обнаруживался наметанный писательский глаз, поразительное знание народной психологии, жизни народной. Подлинный артистизм исполнения наводил меня на мысль, что не будь Федор Иванович писателем, он был бы замечательным актером, таким, как Качалов, Москвин, Щукин. Или видным ученым. А вернее, он был самим собою и разнообразными таланты свои всегда подчинял одной цели — людям.

«Панферова трудно выразить в слове, как трудно уловить непрерывно меняющиеся краски заката», — сказал один писатель, хорошо знавший Федора Ивановича. Это верно. Но в щедро одаренной от природы натуре автора «Брусков» было и постоянство — постоянство богатырского размаха, широты замысла и исполнения. Если он брался за новый роман, то этот роман должен был стать в его мечтах эпопеей народной жизни. Если вел общественную работу, то в масштабе государства. Если веселил друзей, то до колик. Так случилось и с нами, обозленными дождем и холодом. В фанерной моторке, которая раскачивалась где-то в пространстве, сотканном из дождя и мрака, было шумно и весело. Неприметно мотор затарахтел, дождь стал

стихать, и вдали прорезались золотые звездочки райцентра.

Тяжело подымался Панферов по трапу на катер «Сухона». Но мы, его товарищи, не замечали тогда, какого мужества стоили ему эти три часа добродушного веселья в фанерной лодке, заброшенной в осенние, приозерные плавни.

Каюта наша на «Сухоне» чем-то неуловимо напоминала фронтной блиндаж. Два ряда коек, раскаленная до малинового жара печурка, ватники, резиновые сапоги, ружья в чехлах и котелки на столе — походный временный уют, всколыхнувший полузабытые воспоминания. Как давно это было — офицерская землянка под Выборгом или «пивница» — подвал какого-то фермерского дома на берегу Одера. Да и со мной, с моими ли товарищами все это было? Тускло светит лампочка от аккумулятора. Пятно ее расплывается. Усталость, дремота свалили меня, едва голова коснулась подушки. Но то ли от непривычной жары в каюте, то ли от нахлынувших воспоминаний я часто просыпался и всегда видел одно и то же. В носу катера, за маленьким столиком, сидел Федор Иванович. Сидел, глубоко задумавшись, как будто даже нахохлившись. Изредка он что-то записывал в тоненькую тетрадочку и снова курил в полном безмолвии. О чем он думал, какие заботы тревожили его?

Может быть, как и мне, ему вспомнились руины «страны поверженных», выступления перед гвардейцами Пятой Краснознаменной дивизии, где он часто бывал, безостановочная лента бетона — и люди, и города, и равнины освобожденной Европы?

Двумя неделями позже, в редакции «Октября», мы узнали, чему были посвящены его ночные раздумья, что не давало ему покоя и сна. Пока мы рыбачили, варили уху, выступали перед читателями, спорили между собою, Федор Иванович не расставался с тетрадочкой. В его новую статью «Что такое современность?» вошли многие подробности нашей поездки в Кубеноозерье.

Невозможно провести грань между книгами Ф. И. Панферова и им самим как личностью, как человеком. Невозможно представить его отрешенным от неустанных художественных поисков. Возникшую в дружеском разговоре шутку можно было встретить в его новом произведении, и, наоборот, за ночь написанное размышление героини уже

утром проверялось на слушателях, на редакционных работниках, на госте, приехавшем откуда-нибудь из Барабинских степей и заглянувшем в журнал «на огонек». Причем, размышляя вслух, Ф. И. Панферов никогда не ссылаясь на свои творческие планы, на трудности работы за письменным столом.

Нет, он, казалось, просто говорил о жизни, о только что прочитанных книгах, о рукописях, о забавных или драматических случаях, происшедших с ним когда-то. Но чувствовалось, что за этим непринужденным разговором писатель таит какие-то свои, важные для него мысли, что, изредка вскидывая на собеседника острые, изучающие глаза, он внимательно следит за тем, какое впечатление производит на него этот разговор. И если собеседник разгорался, если сам начинал сбивчиво, путанно, но убежденно доказывать что-то, довольная усмешка мелькала где-то в прищуре серовато-синих панферовских глаз: значит, зацепило.

А собеседников, посетителей, просителей было много. Двери редакционного кабинета всегда были открыты настежь — и шли и шли литераторы, маститые и молодые, избиратели, друзья и недруги, близкие и чужие люди. Позднее, в размышлениях Акима Морева, меня поразило одно горькое признание. Мучительно переживая мнимую измену Елены, главный герой романа думает: «За что на меня свалилось такое? И сказать мне об этом некому. Скажешь — покручинятся, а другие заговорят о собственных нуждах, от меня же требуя помощи»...

Да, помощи от Панферова требовали многие. И все просители были почему-то убеждены, что тяжело больной, перегруженный заботами и делами писатель обязан им помочь, как бы ни была мала, незначительна их просьба. И Панферов помогал — одному дружеской телеграммой, другому — беседой, третьему — крупной суммой денег, четвертому — вмешательством в издательские дела. Его отрывали от редакторских обязанностей, от чтений рукописей, от работы над романом — и требовали, требовали, требовали участия, и находили это участие, дружескую поддержку.

Он не любил, да и не умел выступать на больших писательских собраниях. По крайней мере в последние годы жизни. В его словах о хлебе, о земле, о старом и новом Поволжье, о нефтяных скважинах Татарии — Втором

Баку — не было той легковесной броскости, которая могла бы накалить страсти в кулуарах, когда доброхоты, раздувая пиджаки, несутся куда-то, торонливо суют встречным руки или с преувеличенной радостью (не забыть бы про телеобъектив) тискают друг друга в объятиях: «Ну, каков старик?» — «Вот это дал старик!» И — запарусили дальше.

Вероятно, чувствуя все это, он говорил глухим сдвинутым голосом, не отрываясь от текста и спеша закончить выступление, которое ни ему, ни другим отрады не приносило.

Сопровождаемый вежливыми аплодисментами, он медленно проходил через зал и садился, насупясь, где-нибудь с краю.

Я так бы никогда и не узнал, какой это изумительный, нет-нет, не оратор, это слово здесь никак не подходит, какой это изумительный человек, если бы не поездка в Кубе-ноозерье.

...Утро — таких немало на севере в октябре — выдалось пасмурным, хмурым. Иссеченные дождем тротуары были заляпаны грязью, скользили под ногами. В иных местах жидкое месиво, которым заплывала улица, надо было переходить по наспех брошенным кирпичам, в иных — перепрыгивать, подобрав подола плащей. Мы шли что-нибудь перекусить перед выступлением. В районной чайной, где мы столовались, меню было отстукано на тонкой папиросной бумаге, с запасом на полгода вперед: щи с солониной, гуляш из солонины, компот из сухофруктов.

Панферов отложил меню в сторону — с ночи его сильно мучили приступы рвоты — и заказал себе чай. Помешивая ложечкой спитый, или, как у нас говорят, сиротский чаек, он раздумчиво смотрел в окно. По-осеннему тягостен был вид колейстой улицы, домиков, вымокших по балясины мезонинов, убогой, с облупившейся штукатуркой церковки, старых тополей, с которых ветер сбивал остатки мокрой листвы.

На час дня в районном клубе было назначено наше выступление, и никто из нас не сомневался, что в такую погоду, да еще в такое время вряд ли соберется много народу. Ну, будет районное начальство, придут учителя, кое-кто из учащихся, один-два пенсионера, оказавшихся в этом селе, — вот, пожалуй, и все. Однако Панферов здесь же, в чайной, достал из кармана заветную тетрадочку и долго обдумывал и записывал тезисы речи.

Клуб, как и все в это утро, казался унылым, неприветливым. Это было длинное, обшитое серым тесом здание,

которое никак не кончалось, а все тянулось и тянулось вдоль дощатого тротуара. Но уже возле дверей мы увидели стайку девчат. Оживленно переговариваясь, девушки мыли ботики, залитые дорожной глиной, снимали и сворачивали голубые прозрачные накидки. Приметив нас, засмутились, но поздоровались по-деревенски громко и простодушно.

Клуб был полон. На деревянных скамьях сидели женщины, да, большинство женщин. Лишь кое-где мелькали светлые мальчишечьи вихры да темнел ватник старого рыбака. Девушки принарядились, накинули на пальто цветастые косынки, а женщины из-за неближпей дороги так и сидели в теплых платках, приспущенных на плечи. Их рабочие, свекольно-красные руки спокойно лежали на коленях. Их молодые и немолодые глаза были полны нескрывасмого любопытства. Секретарь райкома, как и положено, открыл литературный вечер «Октября» и представил присутствующим гостей. При имени Федора Ивановича Панферова в зале отчаянно захлопали в ладоши, да и потом еще долго переговаривались, показывая друг другу на известного писателя.

В клубе — потеплело, а если точнее сказать, то подобрело, — и, подхваченный волной этой доброты, первым вышел к трибуне Сергей Викулов, постоянный автор журнала. Его улыбочивые, деревенские стихи, как и он сам, смущавшийся, пеловкий, какой-то свой, нашенский, понравились — и тем, кто был на сцене, и тем, кто сидел в зале.

Казалось, в воздухе засветилось облако, когда что ни слово, то в коп, что ни шутка, то прямо в точку. Остальным после Викулова было легче.

И все-таки Федор Иванович волновался, а волнуясь, острее ощущал тянущую боль в груди. Так он и вышел к трибуне, согнувшись, как будто даже сгорбившись и заговорил он будничным голосом, в котором прорывалось затаенное страдание. Но зал уже потянулся вперед, уже слился в единое целое, уже впитал в себя и эти серо-голубые глаза, и морщинистое, с болезненной желтизной лицо, и курчавую, ладно посаженную на плечи голову, и весь облик этого нездешнего человека в добротном пиджаке с депутатским значком в петлице, но все-таки, как и Сергея Викулова, в чем-то своего, нашенского.

Выступление Панферов начал с меры ответственности писателя перед народом. По рядам прошел легкий шумок: здесь чаще звучали требования и обязательства, выстраивались в колонки цифры, сыпались цитаты, но вот так, чтобы кто-то просто и серьезно заговорил об ответствен-

ности любого перед ними, перед сидевшими в зале, перед народом, такое приходилось слышать впервые.

Однажды, рассказывал Федор Иванович, молодой поэт принес в редакцию «Октября» поэму «Живой венок». Сюжет поэмы был незамысловат: крестьяне глухой смоленской деревни, узнав о смерти Владимира Ильича, решили собрать по избам живые цветы, сплести из них венок и отправить этот венок в Москву, чтобы возложить на гроб Ильича.

Поэма была прочитана в редакции и всем понравилась. Прочитал ее и Панферов.

— «Почему цветы?» — спрашиваю я у поэта, — рассказывал Панферов собравшимся в клубе. — Автор промолчал. «Вы знаете, какие цветы стоят у мужика в избе?» Снова молчание. Поэт действительно не подумал, а какие же в январе можно собрать цветы по деревенским избам?

— Ванька-мокрый! — не удержался и выкрикнул из зала парень в темной спецовке.

— Верно, — поддержал его Панферов. — Ванька-мокрый — мокренькие хлипкие цветочки, которые не то что ли сплести, связать в букет невозможно. Пусть мужики, — посоветовал я молодому стихотворцу — сплетут венок из колосьев доброй умолотистой ржи. Правды будет больше, да и хорошо это — матушка-рожь. Больше всего любят ее в деревнях. Любят и ценят. А наши поэты все о васильках да васильках... Нет более поганой травы для крестьянина, чем эти самые васильки. Так, что ли, товарищи женщины? — обратился Панферов к залу.

В ответ дружно и одобрительно загудели, а потом, не умея иначе выразить чувств, переполнивших сердца, разразились аплодисментами.

— Нельзя неправдой, пусть в мелочах, пусть в частности, — продолжал Федор Иванович, — оскорблять любовь народа к Ильичу. Писатель должен быть правдив во всем. Правдив, — подумал, посмотрел в зал, — и, конечно, талантлив. Ну, а идею мы вотрем, — добродушно посмеиваясь, заключил Панферов, — лишь бы у человека талант был.

Женщины, бывшие в зале, чувствовали себя теперь совсем по-домашнему. Они расстегнули пальто, положили платки на колени, уселись поудобнее. Они предвкушали большой, может быть, самый значительный в их жизни разговор. И они не ошиблись в этом.

Панферов, все более и более вдохновляясь, остро и доверчиво вглядываясь в обветренные лица женщин, раз-

мышлял с ними вслух, почему писатель, прежде чем взяться за перо, должен жизнь прощупать собственными руками, почему он должен быть глубоко правдив с народом. Да потому, что, вырвав победу у врага в войне, которой не было тяжелее и кровопролитней, наш народ достоин правды, только правды, только ее одной. Всему миру известно, какой ценой досталась эта победа и какие жертвы понесла в войне наша деревня.

Тут Панферов, неожиданно для нас, сидевших на сцене, заговорил о ласке. Да, о сердечной ласке, отзывчивости, доброте. Он заговорил о вдовьем горе и о том, что едва ли не больнее всего вдова переживает людское равнодушие, душевную черствость. Она, вдова, лишилась самого драгоценного в жизни — мужской ласки, и к ней надо идти не с окриком, — она слышала их, не с приказом, — она привыкла к ним, а с задушевным словом приветия и утешения.

— Погорюйте, поплачьте наконец с ней, — обращаясь через головы сидевших в клубе не сказал, выкрикнул Панферов, — и ей, вдове, будет легче.

Я посмотрел в зал. У многих в глазах стояли слезы. А ведь нелегко хотя бы вот у этой пожилой колхозницы, сидевшей прямо против нас, высечь слезу словом. Ее лицо было замкнуто и сурово. В ее волосах с жидким узелком на затылке поблескивали преждевременные седины. Для нее речь писателя не была ни пресной, ни банальной. Эта речь для нее была откровением. Оставшись одна с ордой ребятишек, чтобы их прокормить, она перетаскала на спине баржи мешков, перелопатила горы земли, недоспала тысячи ночей. Нет, высечь у нее, закаменевшей в горе и заботах, слезу благодарности было не так-то легко и просто.

...В четвертом часу пополудни мы вышли из клуба. Возвращались в центр села притихшими, сосредоточенными. Не было у нас обычного оживления, того легкого самолюбования, которое неизбежно несет с собой удачно проведенный литературный вечер. Ничего этого не было. Потому что каждый из нас понимал одно: как же надо уважать свой народ, чтобы в тесном зальце, перед случайными слушателями — жителями приозерных деревень так не щадить себя, так сгорать от гордости за них, за этих людей, и от печали, как это только что делал Федор Панферов.

...День никак не разгуливался, он по-прежнему был пасмурным, неприветливым. Но на душе не было и в помине той тяжести, которая томила меня вначале. Томило и заботило другое: где взять сил, чтобы повторить сей подвиг?



Д И О Н И С И Й



ЗА МОНАСТЫРСКОЙ СТЕНОЙ

Мне положительно надоело слышать одни и те же вопросы, которые задавались мне с нескрываемым удивлением и даже раздражением:

— Ты был в Ферапонтовом монастыре? Ты видел фрески Дионисия? Как?! Ты до сих пор не удосужился побывать на берегах Бородаевского озера?!

И далее следовало все то, что

положено в таких случаях выслушивать от друзей, заинтересованных в том, чтобы ты приобщился к их удивлению и восторгу, чтобы ты стал таким же, как и они, поклонником несравненных росписей несравненного старца Дионисия.

Все это мне положительно надоело, а больше всего мне надоели собственные проволочки, ссылки на неотложные дела, неоконченные рукописи и недочитанные книги, лежащие на столе, на всю ту гонку и спешку, которая с утра захватывает тебя и не дает ни оглянуться, ни опомниться до полуночи.

Короче говоря, однажды на Дзержинской я взял билет в кассе Аэрофлота и улетел, не ответив на телефонный звонок, задребезжавший в тот самый момент, когда я взялся за ручку чемодана и стал надевать пальто. Я просто выскочил за дверь, бегом сбежал с шестого этажа и через час сел в почтово-пассажирский самолет на Быковском

аэродроме. Мне здорово повезло, потому что в тот же день от причалов Череповецкого речного порта отходил теплоход на Кириллов.

Что я действительно приближаюсь к Ферапонтову, что скоро мне удастся повидать фрески Дионисия, я понял лишь в автобусе, который, как рыбацкий баркас, бросало с боку на бок, ставило то на радиатор, то на задний мост,— это автобус петлял по старинной проселочной дороге Кириллов—Каргополь.

Стояла середина мая, но день выдался холодный, ветреный, и в окно, забитое фанерой, сильно дуло. Я судорожно держался за поручни кресла, не рискуя их выпустить даже тогда, когда автобус выбежал на ровную дорогу.

«Не на этих ли ухабах мотало возок со старцем Дионисием»,— позабавила меня на какое-то мгновение мысль, но чем ближе к вечеру, тем пасмурнее становилась погода, и, когда наконец автобус прибыл в Ферапонтово и я увидел на взгорке надвратную церквушку с полуразрушенной оградой монастыря, меня охватила такая беспросветная тоска, что я подумал: а стоило ли мне срываться с места, лететь сломя голову за тридевять земель, чтобы полюбоваться тем запустеньем, которого хватает в иных памятных местах Подмосковья.

Поселился я у бабки Любавы в закутке, оклеенном прошлогодними номерами областной газеты «Красный Север» и освещенном старой керосиновой лампой. До утра нечего было и думать идти в монастырь. Но я все-таки миновал водосброс у Бородаевского озера, поднялся на взгорок, оглядел со всех сторон ограду монастыря, каменный храм Рождества богородицы, вернулся к главным, так называемым святым воротам, и от нечего делать стал разглядывать росписи на охлупшей, отставшей кое-где штукатурке. Росписи меня огорчили: они были выполнены рукой ремесленника и, конечно, никакой художественной ценности не представляли: провинциальное изделие провинциального богомаза, как и в большинстве церквей начала века.

Поутру я недолго распивал чай у бабки Любавы в избушке, вросшей в обочину по-осеннему раскисшей дороги, разбитой к тому же тракторами и грузовыми автомашинами. Я снова миновал водосброс, снова поднялся к ограде монастыря.

За ночь что-то неуловимо переменялось то ли в моем настроении, то ли в облике архитектурного заповедника: теперь кое-где виднелись следы реставрационных работ, заметно краснела свежая кирпичная кладка, лежали бу-

мажные мешки с цементом, груды песка. Строители явно не спешили, как и вообще они не шибко торопятся при реставрации памятников древности. А пока мне открылся крохотный монастырский дворик перед Рождество-богородицким собором. Дуплистые тополя и березы придавали ему вид уютный, а точнее укромный, как бывают укромны старинные аллеи и запущенные парки где-нибудь возле бывших барских усадеб.

Хромой, неразговорчивый смотритель мне и еще двум экскурсантам, по-видимому москвичам, отомкнул тяжелый замок на кованых дверях собора, и я ступил на истертые плиты лестницы, ведущей к главному входу. Над входом находилась тесовая галерея, и поэтому там было сухо, чисто, как в домовитых деревенских избах. В то самое мгновение, когда я поднялся по лестнице, яркий солнечный квадрат окна упал на выскобленный деревянный пол галереи, — стало так светло, что засветилась каждая ворсинка на полу, до блеска надраенном дресвою. Дресвой трут хозяйки полы, чтобы они были чище и обиходнее, — таков обычай в северном крае. Эта чистота и свежесть создавала предпраздничное настроение, и я невольно перевел дыхание, пытаюсь одолеть непонятный для меня приступ радости, вернее предчувствия радости, которое, по-моему, волнует сильнее, чем сама радость.

Не могу сейчас точно передать первые мысли и первые чувства, возникшие у меня при взгляде на фрески Дионисия. В глубине сознания я сразу понял: это что-то такое, что встречается раз в жизни. Плохо зная акафист деве Марии, который послужил сюжетной основой росписей Дионисия, основное внимание я, конечно, обращал на краски и на технику живописца. Здесь у меня не было сомнений: изумительное, подлинно возрожденческое произведение искусства было передо мной! На фресках главного входа преобладали нежно-голубые и горячие, золотисто-охристые цвета, — они-то и создавали ту приподнятость, особую возбужденность, которую я испытал, подымаясь по лестнице и выходя на деревянный пол галереи. Причем голубой, вернее, небесно-голубой цвет был как бы слегка выгоревший, тронутый пылью столетий, прошумевших за стенами собора. Нет, это не была пыль в повседневном, обычном понимании, это была пыль Веков, приметная седина Времени, — в этой легкой дымке, в этой седине было для меня особое обаяние фресок.

В самом соборе от кирпичного пола до купола — все было расписано рукою Дионисия и его сыновей Владимира

и Феодосия, а также их иконной дружиной. Испытанное мною возбуждение не улеглось и теперь, когда я стал разглядывать четырехъярусные «письма» церкви. Фрески как будто светились изнутри. Фигуры праведников и святых, непомерно удлиненные, а поэтому изысканные, невесомые, парили в голубом пространстве. Особенной теплотой, изяществом отличались женские фигуры. Их позы были исполнены врожденной грации, их движения были медлительны и важны. Мои соседи-москвичи, стоявшие невдалеке от меня, притихшие, зачарованные, шепотом, невольным шепотом, потому что в церкви мы были одни, обменивались друг с другом редкими взвешенными словами.

И всю неделю, которую я провел в Ферапонтове, каждое утро, как на службу, я приходил в собор, садился на широкую скамью перед росписью главного входа или сразу же проходил в собор, и впитывал глазами, и никогда не уставал смотреть на эту спокойную, умиротворенную, как бы сказали в старину, многовещанную поэзию стенового письма. Постепенно фрески размыкались на отдельные картины, образовывали композиции из народных толп, шествий, поклонений, жанровых сценок, диковинных животных, — в одном без труда я узнал северного медведя. Мне стали понятны и библейские притчи, если не все, то многие: ведь художник в них изобразил вечные радости и горести людей, иных он не знал, иных он, земной человек, не ведал и ведать не мог.

От этих сцен веяло на меня беспредельным миролюбием и такой же беспредельной душевной добротой и щедростью живописца. Своим великим талантом он утешал всех, кто изнемогал в скорби и печали, кто был обездолен, наг, сир, кто терял веру в людскую справедливость и отзывчивость. Он ободрял этих людей, он вселял в них надежду, что есть, должна быть иная лучшая жизнь, иной лучший, очищенный от скверны и страха, от крови и злобы мир. Поэтому его стенные росписи звучали чудным многоголосием, согласным хором для прихожан, которые лежали распростертыми ниц перед иконостасом, столетия теснились под этими сводами.

Для нас же, людей новой эпохи, его мастерство, его прекрасное искусство остается свидетельством неизбежной жажды человека жить в мире и согласии, творить, доверяя повелениям своего сердца и разума, чувства и вдохновения.

Настал день отъезда. В последний раз я пришел в собор и только тут, на софите маленькой дверцы, выходящей на север, заметил полустершуюся церковнославянскую вязь.

Как я ни бился, мне не удалось разобрать эти письма. И только в Москве, в «Истории русского искусства» В. Н. Лазарева, я прочитал их полностью. «В лето 7008 (1500) месяца августа в 6 день на преображение господа нашего Иисуса Христа бысть подписывати церковь и кончена на 2 лето месяца сентября в 8 день па рождество пресвятыя владычицы нашей богородицы Марии при благоверном великом князе Иване Васильевиче всея Руси, при великом князе Василии Ивановиче всея Руси и архиепископе Тихоне, а писцы — Диописий-иконник со своими чады. О владыко Христе, всех царю, избави их господи мук вечных».

Я привел эту надпись полностью, потому что старинной тяжеловесностью, велеречивым стилем она передает аромат эпохи, в которую творил великий художник, потому что в дальнейшем эта надпись сыграет решающую роль в судьбе художественного наследия Дионисия.

Древние живописцы не имели обыкновения подписывать фрески и иконы, — тем загадочнее причины, по которым Дионисий решил оставить потомкам свое имя. Да и вообще, как он, жалованный государев иконник, попал в лесные дебри, в безлюдные «белозерские страны». Предположениям и домыслам несть числа. Уже тогда, в Ферапонтове, у меня смутно возникла своя догадка. Однако эта догадка, хоть в малой степени, должна была опираться на факты, на свидетельства современников, на летописные источники, — а вот их-то у меня под руками и не было. Впоследствии пришлось по крупицам собирать редкие упоминания о Дионисии в летописных сводах, в житиях церковных иерархов, в искусствоведческих работах. Но все это было потом. А сейчас я хотел бы рассказать, как благодаря этой надписи в Рождественском соборе Дионисий был открыт вторично.

За четыре долгих столетия потомки забыли имя Дионисия. Забыли настолько основательно, что даже И. Бриллиантов, оставивший историю Ферапонтовского монастыря, изданную к пятисотлетию со дня основания обители (1398—1898), спрашивал в связи с предположительной датой строительства Рождественского собора: «Упомянутый здесь Дионисий-иконник не тот ли знаменитый в свое время иконописец Дионисий, которому в 1482 году заказывал писать иконы архиепископ ростовский Вассиан?»

Однако вопрос был оставлен без ответа. Бриллиантов больше не возвращался к нему, считая, вероятно, свое предположение нелепым, бездоказательным.

Незадолго до первой мировой войны В. Т. Георгиевский, знаток русской старины и иконографии, предпринял путешествие по северным губерниям. В глухом углу Новгородского края, в полузабытом, полуразрушенном Ферапонтовом монастыре, ему посчастливилось найти древнюю роспись. С первого взгляда фрески поразили его. Все было необычно в этой росписи: и сила художественного мышления, и необычный колорит, и смелость, решительность рисунка. Но еще больше удивился В. Т. Георгиевский, когда на стене собора он обнаружил не что иное, как имя самого Дионисия. Сомнений быть не могло: эти фрески принадлежали кисти сподвижника знаменитого Аристотеля Фиоравенти, строителя Московского каменного кремля, Успенского и Благовещенского соборов, в которых сам Дионисий, а после его смерти сыновья Феодосий и Владимир расписывали стены.

В 1911 году в Петербурге вышла солидная монография «Фрески Ферапонтова монастыря» Георгиевского, в которой описывалась история открытия этой жемчужины древнерусской живописи и были приведены репродукции. Так, Дионисий, называемый летописцами «мудрым», «пресловущим паче всех (то есть более всех других знаменитым) в таковом деле», «изящным и хитрым в русской земле иконописцем, паче же рещи живописцем», через четыре столетия стал вновь известен художественной общественности России.

Как же случилось, что стенная роспись Дионисия и его сотоварищей сохранилась в первозданной свежести и красоте? За четыре века сменилось немало поколений, отпылало пожаров, отгремело войн, рухнуло, исчезло с лица земли зданий! Почему же фрески в Ферапонтовом монастыре ни разу не стирались, не срубались топорами, не переписывались заново, как в большинстве древних соборов и храмов? Ответ на этот вопрос может быть только один — это счастливая случайность, «почти чудо», как сказал Георгиевский.

Наивно думать, что монастырская братия сохранила фрески Дионисия лишь потому, что они принадлежали кисти великого художника. Просто братия ничего не знала ни о Дионисии, ни о его творениях. Скорее наоборот, братия считала стенную роспись недостаточно канонической и «божественной». По некоторым свидетельствам, в XVIII веке были предприняты попытки подновить фресковую живопись. Тогдашние стенописцы первым делом усилили сияние нимбов вокруг святых угодников. Правда,

новые краски вскоре осыпались. Но в начале XX века местное духовенство затеяло перестройку собора, отдельные фрески были непоправимо повреждены проломами, а сам собор дал трещины, которые, к стати сказать, зияют в стенах собора и по настоящий день.

Дело обстояло гораздо проще: в северных лесах, вдали от торговых путей и дорог, затерялся этот небольшой монастырь. В 1798 году он был закрыт вообще, и Рождество-богородицкий собор, расписанный иконной артелью Дионисия, превратился в простую приходскую церковь. Бедность прихода, его заброшенность, его удаленность от промышленных центров — вот что спасло это выдающееся произведение древнерусской творческой мысли.

Слава Дионисия, младшего современника Андрея Рублева, постепенно стала возвращаться к нему. Первооткрыватель Дионисиевых росписей В. Т. Георгиевский назвал художника «великим колористом». И это действительно так. Секрет солнечных, медвяно-золотистых и нежно-зеленоватых, лазурных красок был утерян после смерти великого мастера. Ни разу в русской настенной живописи не заструились, не засверкали с такой интенсивностью, с такой силой природные краски, как под гениальной рукой Дионисия. А ведь все они были найдены на берегах Бородаевского озера. Синий фон, прославивший его, в работах других стенописцев стал мутнеть, превращаться в темно-бутылочный, свинцово-зеленый цвет. В дальнейшем, в XVIII веке, цветовая гамма стенных росписей многих соборов вообще приобрела грубо ремесленный, лубочный характер.

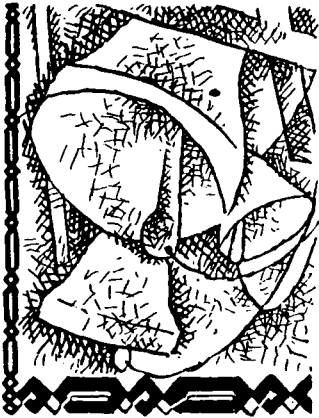
Что касается изобразительного дарования Дионисия, то здесь можно привести немало свидетельств наших крупнейших исследователей, художников, работников картинных галерей и музеев. Научный сотрудник Государственной Третьяковской галереи В. И. Антонова в своем исследовании справедливо отмечает: «...В наше время Дионисий, вслед за Андреем Рублевым, должен быть оценен как художник, творчество которого имеет всемирное значение». В. И. Антонова подчеркивает, что Дионисий выразил в живописи «зрелое национальное самосознание русских людей». Н. М. Чернышев в книге «Искусство фрески в древней Руси» пишет, что, по его мнению, западный портал, главный вход собора, «является произведением огромной художественной ценности». В. Н. Лазарев в истории русского искусства посвятил Дионисию и его школе едва ли не треть своего подвижнического труда.

Я не вхожу в тонкости искусствоведческих споров, они ведутся с неослабевающей силой, а просто хочу напомнить один немаловажный факт: из двух великих художников древности широкая публика знает имя Андрея Рублева, но почти (или точнее почти) ничего не слышала о Дионисии.

После поездки в Ферапонтово по давнишней привычке я засел в «Ленинку» — библиотеку имени В. И. Ленина в Москве и, работая над архивными материалами, попутно, скорее для себя, чем для публикации, стал заносить в черновые тетради выписки, в которых говорилось о непреходящем значении творчества Дионисия в наши дни. Я отнюдь не думал воспользоваться этими выписками, наивно полагая, что существо вопроса ясно без дополнительных пояснений. Но я ошибался и в дальнейшем понял, что без цитат и веских свидетельств крупнейших авторитетов мне не обойтись. Сами «северные письма», сама фресковая живопись, сохранившаяся в соборах, по-прежнему вызывает у иных ревнителей атеистического воспитания молодежи если не чувство неприязни, то во всяком случае неодобрения и недоумения. Библейские и мифологические сюжеты западноевропейских художников давным-давно принято считать естественным и закономерным этапом в духовном развитии всего человечества. Что же касается наших национальных святынь, неповторимых образцов нашей национальной живописи, то здесь инерция и догматизм действуют с прежней силой. Мы подчас забываем то, что сказал Сергей Есенин в одном из предисловий. Поэт просил читателей относиться к его «исусам» и «божьим матерям» как к сказочному в поэзии, как к мифам и легендам, существующим и у других народов. Без такого переосмысления древних «писем» нам не удовлетворить глубочайшего интереса к историческому прошлому народа, который ныне ощутим повсеместно. Этот интерес — одна из важнейших особенностей современного самосознания.

Да, история — это веки прошлого. Но, оглядываясь на них, мы яснее можем прочертить направление грядущих событий. Потому-то мне и захотелось в меру сил и возможностей воссоздать облик Дионисия, поведать историю возникновения его фресок в Ферапонтовом монастыре.

УТЕШЕНИЕ ДИОНИСИЯ



Крик монастырских галок подымало ветром над звонницей, сносило в поля вместе с редкой куделью тумана. Ветер дул-задувал ровно и сильно, как из подворотни, раскачивал вершины старых тополей, срывал с крыш сырые дранки. Белесый туман рвался на лету, — и тогда с небес начинало скупо сочиться утреннее солнце. Было

похоже оно на яичный желток, растертый в белилах. С косогора, из-за ограды, виднелась взъерошенная даль Бородаевского озера, в заозерье — кромка леса, откуда неостановимо вылетали, пластались по небосклону облачные стаи. На монастырском подворье свивались в тугие петли тропинки. Начинались они у поварни, у трапезной, у монашеских келий и вели к широкой лестнице Рождествобогородицкого собора.

Собор стоял на взмостье, окруженный с трех сторон галереями. С главного входа еще не сняли леса; сквозь горбыли, сколоченные крест-накрест, сияла охряная и лазурная роспись.

Ферапонтова обитель не была столь богата и славна, как соседний Кирилло-Белозерский монастырь. Мало землицы и деревень было приписано ферапонтовской братии. Мало было и прихожан в глухой округе. Зато место красно и угодно на жительство избрал в старину Ферапонт, основатель обители, сподвижник старца Кирилла. Стоял монастырь на взгорке между двух озер, одно — Бородаевское, другое — Паское. Озера — рыбные. Леса — грибные. Сенокосные уголья — обильные. Потому-то и трезвонили бойко колокола, как они трезвонили в тот час, когда на ветру раскричались монастырские галки.

...Дионисий, угрюмо насупившись, шел к храму по размокшей тропинке. Ночью в келье он лежал пластом, не смыкая тяжелых от бессонницы век. Дионисий все прислушивался к дребезжанью слюдяного оконца, к глухим порывам ветра, к ударам колокола, мерно стекающим со звонницы. Медной доской давила на грудь духота, и не

было сил сбросить ту доску, вздохнуть, как и прежде, легко и свободно. Смутилось в нем сердце, — страх смерти нанал на него, покрыл тьмой недоумений, объял душу боязнью и трепетом. Почитай, с самой весны точила его, как червь дерево тлит, неотвязная дума: прах летучий сие житие, пустое мечтанье. Нет и не было смысла в его дерзновенных трудах и лишениях.

Встал Дионисий, измаянный лихоманкой, ослабевший, поникший. Едва отворил низкую дверь, как ветер вырвал из рук скобу, с силой хлопнул притвором. От ветра, дующего с Бородавы, от утренней свежести, от милых душе озерных просторов вроде бы чуть полегчало. Взгляд привычно скользнул по крестьянским дворам, прилепившимся к кособоку, по рыбацким ладьям, вразнобой пляшущим у причала, по синему лесу, зубчато стеснившему монастырь. Дионисий перекрестился на храм и надумал идти было дальше, как от соседней кельи навстречу ему поднялся человек. Длинные космы мокры, спутаны. Сквозь рвань ходильного платья обнажилась грудь, тяжело блеснул нательный, кованый крест. Это был блаженный инок Галактион. Не имел он ни кельи, ни малой каморы, ночевал где придется на монастырском подворье, иное под окнами келий, а иное на голой земле у собора, — радел о славе мученика и провидца. Старый игумен благословил монаха на подвиг юродства, и с тех пор приводил он в трепет лесную округу. Баяли все: ферапонтовский Галактион, дескать, блажен во юродстве, наделен даром разума иступленного, провидец он, страстотерпец. И сторонились юрода, остерегались задеть его словом, обидеть его ненароком. Страшный был по всему человек.

Среди монахов шел шепоток, будто не без его, Галактионовых, козней случился в монастыре пожар. На осеннем рассвете враз загорелись амбары, сушильня, ограда, запыхало все, затрещало, огонь перекинулся на ветхие кельи, в одной из которых жил опальный отшельник по имени Иосаф. Сановитый, сведущий в книжном письме был Иосаф из знатного рода Оболенских князей. Подался он в белозерские страны, отягченный княжеским гневом. Блаженный Галактион, словно приبلудный пес, слонялся вокруг Иосафовой кельи, спал, согнувшись в калач, сидел у стены часами. Когда враз охватило пламенем низкую кровлю, вскричал знатный старец, что лежит в потайном уголке некий клад, хранимый монастырского ради строенья. Тогда-то Галактион, случившийся при пожаре, осенил себя крестным знаменьем, бросился в дверь, забитую дымом.

Вынес из пламени и поставил к ногам Иосафа укладку, окованную серебром да красною медью. С тех пор и пошла за юродивым слава, как за прохожим верная тень. Поминали слова, сказанные до пожара: «Не стоять вашей обители году. Святости нету в ваших трудах!» Сгорела б обитель дотла, да, вишь, помогла Галактионова одержимость. На ту казну князей Оболенских были срублены заново все постройки. Начали строить и новый собор. Возводили его с великим стараньем,— камень везли издалека, из-под Ростова. Ростовской артелью с мастером Прохором был собор изукрашен кирпичною вязью, узором из бусыпок, выпуклою — обронной — плетеницей.

Дабы придать благолепие церкви, отписал Иосаф грамотку па Москву. Звал в той грамотке он самого Дионисия, известного в русской земле живописца. Старый мастер на уговоры не поддавался. Однако в зиму 1500 года неожиданно прибыл в обитель с двумя сыновьями — Владимиром да Феодосием, да левкащиком Еремеем, да иными пособниками и писцами.

Той же весной артель приступила к работам.

Галактион, пригнув косматую голову, стоял возле узкой тропинки. Посинелый рот кривился в привычной ухмылке.

— Калабан, челабан в предисподню угадал,— зачистил он, коспозыча, кланяясь Дионисию в пояс. Живописец хотел миновать его, но юродивый сыпал словами, словно каленым горохом.

— За смехотство, высмехотство в предисподню угадал.— И сверкнув глазами зло, затаенно, хрипло добавил: — Худ ты, иконник, стал. Помрешь, видно, скоро...

— Каждому по делам его, — нехотя отвечал Дионисий. А юродивый, распаяясь все больше, дерзко шагнул на тропинку, замахал, как мельница, рваными рукавами.

— Иконник, иконник, сатанинский угодник. Ты почто пожаловал в нашу обитель? Ты почто смешал божество с мирскою толпою? Ты святителей пишешь длинных, как жерди. Еретик ты! В адском пламени будешь гореть! Степнописаньям твоим осыпаться, как перхоти с шелудивого пса!

Юродивый сжал кулачищи, повалился ничком на тропу. Жаждал он исступленьем своим унижить пришельца, обласканного, как гласила молва, отшельником Иосафом и даже великим князем московским. Лютая зависть сжигала Га-

лактиона: был ненавистен ему величавый мирянин, превзошедший во славе его, страстотерпца.

Дионисий, неловко подавшись вперед, стоял перед иноком, бившимся в черной падучей. Сухим, настороженным блеском были полны его очи. Не однажды слышал почтенный мастер подобные речи, — и не тут, не в дебрях лесных, а на дворе у великого князя, в Москве. Знай об этом юродивый, раздуло б его от гордыни, как раздувает утопленника в пруду.

— Встань, монасе, — тихо просил Дионисий. — Понапрасну семена злочестия сеешь: тебе не дано проникнуть в тайны стенного письма, в неизреченные наши заботы. Встань и иди, — повторил он суровой и строже.

Острые лезвия глаз Галактиона стали меркнуть, тускнеть. Но напоследок те лезвия полоснули по ясным глазам стенописца, и только тогда, обмякнув, поднялся юродивый с влажной земли и, шатаясь, как с зелья хмельного, побрел в дальний угол подворья.

Заложив тонкие пальцы за опояску, хмуро смотрел ему вслед Дионисий. Нет, неспроста бесноватый затеял раденье. Горазд был на выдумки этот монах, ой, как горазд. «Святости нету в ваших трудах!» — вопил он монахам еще до пожара. Да и теперь повторял он слова не свои, а чужие. Знал Дионисий: невежество злость порождает, а злобе вкупе с бесчинством нет и не будет предела. Ведь кому же иному, как не кликуше, радеть о крепости веры, благословенья искать у пастырей здешних. Ах, да что сей темный и бешеный инок! Даже князь церкви, его покровитель игумен волоколамский, бился в падучей, когда прослышал о смуте в новгородской земле. «Хулящих царя небесного, наипаче царя земного — казням лютым предать, в заточенье сгноить!» — кричал он, входя в исступленье. Мнил волоколамский игумен: дойдут его речи до князя Ивана, прозвучат малиновым звоном в кремлевских хорах, возвестят Ивану о страже надежном, о прочном щите христианства. Семена благомысленной одержимости, поиски ереси дадут, — вздохнул Дионисий, — на Руси немалые всходы. Запылают смоленые клетки с еретиками. В землю заживо станут закапывать вольнодумцев. Неужели и роспись стенную топорами ссекут? Неужели его, Дионисия, труд пропадет от бесчинства, от злобы? Добро б от татарских мечей, а то от скребков неразумных монахов, наученных, науськанных таким же блаженным, как юрод Галак-

тион. Провел по глазам Дионисий, как будто снимая липкую паутину, пошел угнетенно к южной ограде, где на левкасном дворе стояли крестьянские дроги.

Везли мужики в монастырь промытый речной песок, мешки с ржаной мукой, лен в тяжелых жгутах. Московский пособник по имени Еремей придиричиво трогал и песок, и лен, и уголь в грубых рогожах. Был пособник зело понятлив в строительном деле. Ведал он: в стенописаньях левкас — всему голова. Известь для левкаса, — а им покрывают стены соборов под краску, — потребна белая, мягкая, словно перина. Зимой эту известь вымораживают на холоду, а летом — мешают в творильных ямах. А все для того, чтоб не пошла емчуга по письму морокой, чтоб не покрыла лики угодников соляным, белесым налетом.

Когда же известь протрут, просеют, надо лен вычесать, изрубить его мелко, добавить коры еловой, — да все смешать, — вот тогда и будет спелым левкас. Тогда по редкому ряду железных гвоздей, вбитых в стены, наматывай левкас, гладь его ручною лопаткой, грунтуй стены под краску. Но помалу делай дело: должен успеть живописец за день покрыть стены письмом. А как засохнет левкас, так писать иконнику худо: краски померкнут, могут осыпаться враз, отшелушиться.

Поучал Еремей мужиков-тугодумов, как готовить левкас, мял взыскательно известь в ладонях. Крепок дуб множеством корения, а художество крепко заботой и тщаньем людским. Тут, брат, любые проклятья бессильны, тут надейся вернее всего на себя.

— Добрый ныне левкас, — сказал Еремей, вытирая ладонь о порты. Отличался левкащик добродушием, дородностью и голоса густотой.

— Феодосий, — как из бочки гудел он. — «Брак в Кане» графьей помечает, а Володимир — серафимов в окне пишет.

Дионисий вместе с Еремеем осмотрел, как холопы в рваных сермягах лопатят левкас, как несут в берестяных кошелях к паперти собора. Левкащик, чуть поотстав, шел за главой иконописной артели.

— Леса-то с главного входа пора бы убрать, — сказал Дионисий. Еремей охотно кивнул в ответ загорелую плешью.

...Из-за высоких помостов, чанов с водой, горшков и кринок, заляпанных краской, корчаг, стоящих вдоль стен,

в соборе было тесно и грязно. Пахло сырой известью, олифой, смолкой сосновых досок. На лесине, ограждавшей помост, сидел Феодосий. Сидел он небрежно и легко, как татарский баскак на коне, слегка покачивая ногой, обутой в сафьяновый сапог. Этот щегольской сапог, у которого нос — шило, а пята — востра, ввел во гнев Дионисия.

— Доська, — укоризненно бросил он сыну, — какая нужда тебе здесь выржаться. Ты хоть по забудням-то не красуйся, как девица.

— Пустое, отче, — усмехнувшись, ответил Феодосий. — От своего рукоделья пищу и прочие нужные потребности себе приобретаем. Сам знаешь, тем рукодельем живем и питаемся.

Не сменив позы, Феодосий взял из обливной корчаги кисть и стал писать по свежему левкасу. Мазки его были мелкие, иконописные, но ощущалась в каждом движении твердая вера в себя. Тут уж медлить ему было некогда. Но и поспешать тоже нельзя: сырой левкас схватывал краски намертво. Переделать, исправить сделанное было уже невозможно. Высветлив лики, он двинул белилом по сильным местам, наметил скорбные подглазья, а уж потом принялся за ризы и царское убранство. Феодосий сошел на помост и с истовостью, неприметной в нем прежде, начал выписывать брачный наряд жениха. Охра медвяная, жженая, киноварь, празелень, голубец — все краски были у него под рукою. И постепенно проступали на стене жемчуга и драгоценные бляшки на оплечьях жениха. Загорелся, на богоматери вишневым цветком мафорий — наряд, подобный головному покрывалу. Плавными складками легли одежды угодников. В ликах, писанных Феодосием, было что-то заученное, единообразное. Зато выше меры старался он, выписывая праздничные царские наряды.

Дионисий долго следил за художеством сына. Было и Феодосию дивно столь пристальное внимание отца. По напряженному загривку, по его плечам, обтянутым холщовым балахоном, по всему складному облику чувствовалось: вкладывал душу Феодосий в соборную роспись. Хотелось ему показать, что он сам по себе, а не как чадо премудрого Дионисия многого может достичь в благолепном письме. Кто иной, как не отец, изрядно известный повсюду, мог оценить эту строгую верность древнему византийскому уставу и его, Дионисия, навыку. Медлительные, казалось бы, непомерно вытянутые телеса царей и святителей были

полны величья. Они вели сокровенные беседы с жестом предстояния, либо погружались в тихое раздумье.

Дионисий присел на холщовое сиденье и по-прежнему взыскательно оглядывал стенную роспись. Не только теперь, но давно он примечал: вычурным становится Феодосиево письмо. В парчовых одеяниях да корунах, унизированных жемчугами, теряется сын как живописец. Столь прельстительное для него убранство губит в нем силу взыскующую, духовную. Губит линию — емкую, сильную, единственно счастливую линию большого мастера.

Будь его, Дионисия, воля, в одной ли хрупкой изящности, в медлительной ли важности беседующих, он стал бы искать себя? Под хитонами да парчовыми одеждами он вымыслил бы тела красивые, сильные, ловкие.

Но вспылчив норов у сына, и не терпит он ни в чем прекословья. Посему Дионисий сидел, облокотившись на колено, вобрав в ладонь бороду, сидел неподвижно, даже безучастно и все-таки многое примечал из-под приопущенных тяжелых век.

Монахи, приставленные к артели, вносили и выносили воду в дубовых ушатах, растирали на плоских камнях комья охры, копанной тут же, на берегах Бородаевского озера. Они студили клей для лазори, мыли в корчагах щетинковые кисти. И по тому, как неслышно мелькали они под опорами помостов, понимал Дионисий, что меньшей его сын стал для них главой дружины, что быть вскорости Феодосию жалованным иконописцем государя.

В толще северного окна писал серафимов Владимир. Поджав под себя калачом ноги, в серой, заляпанной известью однорядке, был Володюха подобен мучному кулю: тучный, словно бы заспанный, работал он с ленцой и явным небрежением. Томился Володюха в богоспасаемом углу второй год, втай поносил отца и меньшего брата за их сговорчивость да податливость на Иосафовы увещеванья. А бранился Володюха лихо. Да и как было ему не браниться: ведь ни денег, ни почестей не огребут они в ферапонтовской обители. «И какого беса, — прости мя грешного, — думал он, — было бросать княжеский двор, коль скоро знатные муроли — фряжские каменностроительных дел мастера — строят в Москве церкви чудна вельми и светлостью, и звонностью, и высотой. А тут, в топях-болотинах, дикость одна да полное истощение плоти. У смердов не токмо меду хмельного али браги пенной, ломтя хлеба не сыщешь».

Не был Дионисий ни черно книжником, ни ясновидцем, но умел читать он в сердцах сыновей своих, как в открытой книге. И потому, что в Володюхиных потайных укоризнах было немало верного, еще более ссутулился он на холщовом сиденье. Колоколом гудело сердце в груди. Свинцовой тягой наливались ноги. «Помрешь ты скоро, иконник, помрешь», — хрипел в памяти Галактионов голос. И дабы стряхнуть с себя юродское наважденье, развеять хоть малую толику тяжких печалей, медленно поднялся Дионисий и тихо вышел из храма.

Едва почитаемый мастер скрылся под сводами, как Феодосия поманил поварской служка. Тот нехотя оставил помост, спустился вниз по лестнице. Отведя иконника в темный угол собора, служка торопливым шепотом поведал ему, как изрыгал Галактион лютости зловредные, как грозил отцу адовым пламенем, поносил всячески артельную стенопись.

У Феодосия заиграли желваки под литыми плечами скул, по шее пошли красные пятна. Он рывком сорвал с себя балахон, опрометью бросился вон из собора.

Крупно шагая по двору, раздув гневливо ноздри, Феодосий без толку обежал монастырские постройки. Злоба и страх душили его. От невежества Галактионова бысть в людях молва великая и смятение, — та молва покатится, полетит подметными письмами ко двору князя Ивана Васильевича, к престолу святительскому. До Иосифа Волоцкого, несравненного учителя, многогорделивого друга, дойдет та молва. В безумных дерзновениях да ересях обвинит Москва безвинных богомазов и не видать ему, Феодосию, ни почестей великокняжеских, ни благословения митронолитова. Нет обороны от лжи, нет запоров от навета: поди разберись, как нисаны лики угодников в отдаленной обители.

Отец, зараженный смиренномудрием пустыни Сорской, брани да тяжа, как яда смертного, обегает. Ему ли устоять против врагов своих? Ему ли развеять напраслину?

Феодосий вновь обошел постройки, пока наконец не догадался заглянуть в сушильню. Сильно рванув отводок, он ослеп от полумрака, царившего в сарае. Тяжелое дыхание его наполнило сушильню. У стены, завешанной сетями, на монастырских меружках спал ничком Галактион.

Остроносый сапог с силой вонзился в ребра юродивого. Тот застонал от боли. Не давая Галактиону опомниться, Феодосий схватил его за грудки и поволок на волю.

— Ты... собачья кровь, — свистел он сквозь зубы. — Ты утром что плел? Скоморошья пляски возле святого дела устраивал? Язык поганый распускал?..

Грязное Галактионово рубище треснуло, поползло с плеч. Сверкнули бельма закатившихся глаз, искоробился заросший дремучей волосней рот. Иконник еще раз встряхнул юродивого, потом брезгливо толкнул его, как рогожный куль, на землю. «Что взять со пса смердящего, — зло оборвал он себя. — Язык ему, рабу нечестивому, вырвать. В яме творильной утопить...»

Феодосий одернул тонкосуконный зипун, поправил кожаный пояс, крытый серебряными бляшками, и зашагал в келью Иосафа.

Знатный старец удалился в Ферапонтов монастырь, алкуя тишины, одиночества и покоя. Однако не обрел он здесь ни благочинной отрады, ни очищения духа от мирских забот и соблазнов.

Архиепископ новгородский Геннадий искал в Ферапонтовой обители сподвижников, слал Иосафу послания, требовал созыва собора, на котором положен был бы предел смущенью умов. Открылась Геннадию в новгородской земле ересь великая и потребен ему был собор церковных иерархов, дабы «еретиков казнити, жечи да вешати».

Не в престарелом Иосафе, а в молодом Иосифе Волоцком нашел Геннадий опору. Однако к голосу бывшего ростовского святителя прислушивались московские князья духовные. Позабыв прежнюю немилость, прислушивались и князья мирские.

Когда Феодосий вошел в келью, старец дрожащей рукою перелистывал чье-то житие. Иконник припал к руке старца, вкратце изложил заботу.

— Пойдем, сын мой, в храм, — смиренно ответил ему Иосаф. — Пусть не томит тебя дух гневливый: в умной молитве да сопребывании обрящем утешение.

Феодосий помог старцу накинуть на узкие плечи куколь — темную, грубой шерсти одежину. Подал посох и расторопно открыл перед ним дверь.

Шли они к собору медленно, беседу вели тихую, незаметную. Иосаф часто останавливался, дабы передохнуть,

а остановившись, несказанно сокрушался. Дескать, дрогнула вера на святой Руси и отступили многие от православья. Ереси плодятся повсюду, вольномыслие как никогда процветает. А все потому, что мужи духовные из печальников земли русской превратились в государевых потаковников. Воли своей не имеют. Права позабыли. Сам первый Иосиф Волоцкой отступил от небесного, а пришел к земному. Вместо дел монастырских за государево дело живот готов положить. Стяжательством обуян Волоколамский игумен. Было бы жить чернецам по пустыням, да кормиться рукоделием своим, — меньше было бы на Руси сомнений, меньше было бы кружащихся ради стяжанья. А то отписал ему прошлым летом Иосиф, мол, ныне и в домех, и на путех, и на торжищах иноки да мирские людишки все сомневаются, все о вере пытаются. Поди слышал Феодосий-иконник, как говорят, распоясавшись: «Что то царствие небесное? Что то воскрешение мертвых? Ничего того нет. Умер кто, ин тот умер».

Замкнулся от подобных речей ярый иосифлянин Феодосий, словно в рот воды набрал. Внимал речам старца невежливо, неохотно. Ведал иконник: отцу Дионисию пришлось бы по сердцу поучения Нила Сорского, — вот, с чьего голоса поет затворник Иосаф. Ему, отцу Дионисию, от нестяжателей — честь да хвала. А Феодосию путь править с сильными, дело делать с разумными. И еретиков жечь да казнить надобно, коль скоро ереси веру колеблют. Задумали, вишь, иконам не молиться, в церкви не ходить. А Феодосию — по папертям побираться? С каликами переходжими в голос выть? Не бывать ересям на Руси! Зловерье новгородское железом каленым выжигать надобно, а не молитвами еретиков милостивить.

...Бледное солнце выглянуло из-за тучи. Задрожали на свету тополиные листья, зашептались травы, сильнее заверещали монастырские галки.

Иосаф, поддерживаемый под локоть иконником, вошел в собор, где в обеденный час было безлюдно.

От купола до самого полу покрывала собор золотистая и бирюзовая роспись. Помосты да лестницы затеняли многие письма. Краснели кирпичом нелевкашечные своды и подиружные арки. Но ясен был чудный замысел главы иконной артели. В четыре ряда шло письмо: по нижнему ряду платы с дивными медальонами. Затем изображения церковных соборов и лики святых. Выше — акафист во славу девы Марии, по сводам да по лютернам — евангелические главы.

— Лепота! — еле слышно выдохнул Иосаф. Феодосий, польщенный похвалой старца, стал разъяснять ему много-мудрую хитрость стенного письма. Напирал иконник особо на «Вселенские соборы». Да и в акафисте деве Марии пояснил Феодосий мудрую богословскую сущность: через прославление богоматери славили писцы-иконники доброго пастыря Иисуса Христа. Поднаторелый в книжности Феодосий говорил живо, складно, велеречиво.

— Лепота! — только и вздохнул в ответ Иосаф, утомившийся от речей Феодосиевых.

...На совет к Иосафу пришли казначей, келарь, игумен монастырский. Приведен был и Галактион, сникший, припрятавший под космы огоньки росомашьих глаз. Совет вскоре порешил: дабы не отвращать прихожан от храма, собрать, какой есть народ, и явить народу новое чудо. Блаженный Галактион услышит голос небесный: «Поющий твое рождество хвалим те все, яко одушевленный храм». Слова из акафиста должны прозвучать внятно, а раденье блаженного успокоить умы прихожан. Да и на сердце впавшего в скорбь Дионисия сии слова, как разумели святые отцы, должны пролить свет благодатный. Ежели Галактион тому совету не внемлет, держать его на железной цепи в яме до скончания века.

Пополудни во втором часу ударил колокол на звоннице. Густой медлительный гул поплыл над озерами, над лесами, над крышами крестьянских дворов, крытых лубьем и дранью. Возле паперти замелькали клобуки монахов, скуфейки послушников, войлочные мужицкие колпаки. На паперть, к главному входу, с которого мастеровые сняли леса, взошел преподобный Иосаф, келарь, игумен. Из храма показалось надменное лицо Феодосия. Был он одет в рабочий балахон. Волосы повязал ремешком. Иные пособники с любопытствующим Володюхой теснились за его крутыми плечами.

— Братие! — торжественно начал игумен. — Иконная дружина старца Дионисия, преизрядного мастера из стольного града Москвы, заканчивает роспись в богоспасаемом храме. Ведомо нам: иноку Галактиону явился седни чудесный образ, благословивший подвиг дружины. Галактионе, — обратился он к монаху, вышедшему из толпы, — поведай чадам о сем чудесном виденьи...

Галактион в разорванном, спущенном с плеч рубище стоял неподвижно.

Но вдруг он дико запрокинул назад голову. Из-под спутанной бороды его заострился волосатый кадык. В горле что-то забулькало, заклокотало. Ноги стали дрожать мелкой дрожью, подгибаться: Галактион, не склоняя головы, подымая руку вверх, грохнулся на колени. В голос запричитал какой-то чернец. Из ощеренного, с пенными закраинами рта Галактиона рвалась хриплая невнятица.

Феодосий холодно посмотрел на блаженного, повернулся и спокойно ушел в собор.

Колеистый проселок, ведущий к Цыпиной горе, обветрился, зачерствел. Лишь в рытвинах омутами стояла вода. Дионисий ступал затравяневшей обочиной, иногда он переходил на проселок, где посуше. Мягкие татарские сапоги его забрызгались грязью, промокли, но Дионисий упрямо постукивал батошкой в лад неторопкому шагу. Порывы ветра подхватывали его под зад, развевали полы ряски, морщили воду в коленях, пока наконец чистое небо не заблестело по всей дороге — и в глубоких колдобинах, и в малых лужицах, из которых воробью не напиться. Скрылась за спиной бревенчатая ограда Ферапонтова монастыря с надвратной, рубленной же из бревен церковью. Осталась за пригорком деревенька Лещево. Потемневшие от дождей избы сгрудились у проселка. А дорога все круче и круче заворачивала к Цыпиной горе, к Ильинскому погосту, обтекала замшелые камни, ныряла в низины и снова взбиралась на крутые пригорки.

Мнилось Дионисию: идет он не сим хоженным-перехоженным проселком, а неким путем к некой высокой-высокой горе. С той горы из-за вечных туманов и облачных хлябей будет видна ему матушка Москва. Бирюзовые ленты рек опоясали грудь земную. Легли к изголовью студеные моря-океаны. Вечнозеленым платом дубрав и полей окутаны плечи. Глядит Московия синими очами озер, глядит, не мигая. Пытает у него, у Дионисия, свою бусу, свою судьбу. А что ответит Дионисий, что изречет он? Путь его жизненный краток, но им же он течет. И не дым ли да пепел житье его? Не томим ли он страстями, в коих изнемогает разум его? Не искал ли он утешенья в прилежном письме? Не предавался ли философской премудрости, книжному чтенью? Да истина открылась ему: «Путь сей краток есть... Дым есть сие житие».

Тюкает батожок по утоптанной тропке. Пришаркивая, идет Дионисий к Ильинскому погосту. Но как ни высоко,

как ни жестоко встают в душе его волны унынья, стихает буря душевная и не может не видеть Дионисий благодати, разлитой окрест.

...Березовые рощицы выбежали к проселку. Разостлались по взгоркам ромашковые травостой, с мокрыми, басовито гудящими шмелями. Зазвенели в небе жаворонки. Они то падали, то взмывали в поднебесную высь, словно кто-то поддегивал их паутинкой. Густой, сладостный дух шел от старых пепелищ, заросших тополями. Дионисий втягивал запах свежей смолки и примечал, будто опускает его телесная немощь, тверже тюкает батожок по земле. В такие тополя любил он забираться отроком, вырезать из веток свистульки. До сих пор обжигает губы горечь тополевой смолки. Бежит босоногий отрок за скоморохами, свистит, надув щеки, в свисток. То-то было радости. То-то было веселья.

Тюкает батожок по земле, которую от монастыря к монастырю, от посада к посаду всю исходил Дионисий. На глаза ему попала крупная, едва не с ладонь ромашка: малое солнышко, расцветшее у дорожного камня. Дивны дела твои, господи, дивны красоты твои, матушка Русь! Погулял в молодости Дионисий по весеннему разнотравью у монастырских оград, у высоких крылечек. Порасписывал стены соборов охрой желтой, как сердцевина ромашки, белилом белым, как ее лепестки. Ныне осыпалась голова снежной замятью: не стряхнуть, не вычесать из поредевшей гривы. А тогда сплетала ему Ориница венки из ромашек, целовала сладкой сладостью вишневой, надевала те венки на жесткие кудри.

Ах, дивны красоты твои, матушка Русь!

Не счесть на равнинах твоих теремов боярских, башен оборонных, городов белокаменных. С красками да кистями, со всем набором иконописным исходил смолоду Дионисий твои дороги, ел твой хлеб, замешанный на корье сосновом, пил твоё парное молоко. Встречал людей многих — князей в златотканых одеждах и святителей в бархатных саккосах, посадских в кафтанах суконных и служивых в кольчугах железных. Но пуще всего встречал на Руси простых холопов в азиях да сермягах, женок их в холстинковых сарафанах.

Многолюдна ты, матушка Русь!

Светла и просторна площадь перед Успенским собором в Кремле. Да и ту заливают море людское. Вспомнилось Дионисию, как святили сей благолепный собор. Глаз не хватит — лица человеческие, пытливые. Москва — народ

ожидает выхода великого князя Ивана Васильевича. Гремит сбруя коней серебряными да золотыми цепями. Попоны тоже звенят от серебряных бубенчиков, подвешенных к ним. В красных полукафтанах, в шапках, осыпанных изумрудами, выезжает на площадь государева стража. Но горит, как жар, в светлом убранстве государь Иван Третий Васильевич. На государе — крест алмазный, перевязь золотая, платно царское — атлас по серебряной земле, травы золотые, запястья жемчугами унизаны. Смуглолиц, темноволок князь и высок ростом. Посему горбится он в платне царском. Блистает гордым взором, глядит куда-то поверх толпы, поверх замоскворецких теремов. Но и с тех дерзких кремлевских высот не окинуть ему взором новые страны московские: рязанские, ярославские, двинские, заволоцкие, вятские, пермские... И все ныне единая Русь! И вся ныне под его, князя, державою!

Ликованье в народе поднялось. Не московский удельный князь, а государь над всеми государями земли русской Москве — народу явился. Ей же, Руси, расти, молодеть и расширяться до скончания века.

Помнится, подступил к горлу комок у Дионисия, заблистали на глазах благодатные слезы. Вскрылила его сила народная, кричал он вместе с толпами: «Слава пресвятой богородице — заступнице русской! Слава государю нашему!»

...Притомился Дионисий от неотступных видений, от неближней дороги. Спустился в овраг, поросший черемухой, испил ключевой водицы, осыпанной черемуховым снежком. Потом утерся полой ряски, присел тут же у ручья на камень-плакун, сложил крестом ладони на бабочке, обоперся подбородком: задумался.

Сколько он ни помнил себя — с великим жаром душевным писал богородицу. Едва, бывало, слышит величавый глас: «Радуйся чудо чудес Одигитрие-владычице», как громом прокатится в душе похвальная песня — акафист в честь богоматери девы Марии.

На Руси со времен Калиты Одигитрия почиталась по многим церквам и посадам. Молились ей, слышав частый ливень копыт татарской конницы, увидев дымы, палимые по окоему. Выходили с иконой навстречу татарве, да ливонцу, да немцу, да ляху, да иным агарянам, супротивникам русских людей. Бились насмерть: один бился с тыщею, два — с тьмою. И светозарной зарей сияла над воями Оди-

гитрия, заступница за православных. Потому-то сладкие песнопения в честь богородицы неумолчно звучали в душе живописца. Мыслил Дионисий те песнопения высказать по-своему, иконным письмом, незамутненными, чистыми красками. Лазорь да голубень брал от неба, киноварь — от утренней зари, а охру — от яркого солнышка. И немало он изощрился в своем ремесле. Немало вымыслил деисусов со праздники и пророки.

В Боровском монастыре со старцем Митрофаном, у которого был Дионисий в пособниках, расписали они храм Рождества богородицы чудно вельми. Дивился на роспись великий князь Иван Васильевич. Запомнил государь молодого иконника, полюбил его за письмо, вещавшее о победоносной силе, о торжестве воинства христианского, а стало быть, и его, князя, могуществе.

И надо же было случиться такому диву. В лето 1482-е сгорела на Москве церковь каменная святого Вознесения. Пожар вспыхнул ночью, внезапно. Прибежавший церковный сторож кинулся в храм, охваченный полымем, дабы спасти Одигитрию, чудную икону греческого письма. Вынес сторож из церкви одну обгорелую доску. Жаром спалило лик богородицы, повредило кузень — дорогой серебряный оклад. Ропот пошел по московским дворам и подворьям, по торговым рядам и причалам. Пребывали в страхе многие люди; беспокойно жилось им в русской земле. Тем же летом крымский хан Менгли-гирей с силой своею взял Киев, много там пакости учинил, многих в полон увел и с женами их и с детьми. Невозможно было Москве — народу жить без вознесенской святыни. Тогда стали искать наилучшего иконника, который смог бы на той же доске в том же образе написать Одигитрию. И не было изящнее и хитрее в русской земле живописца, чем Дионисий. В долгих трудах пребывал молодой иконник, а когда налил на ладонь олифы да протер той теплой олифой письмо — ахнули миряне и иноки: Одигитрия была краше прежней, но и ничуть не отличима от греческой прориси.

С той обгоревшей и заново писанной иконы окружили Дионисия еще большим почетом при княжеском дворе, при московском митрополичьем престоле. Летописец, пересказавший случай с пожаром, с похвалой помянул Дионисия, дабы пребывал он незабвенно «в последних родех».

Иосиф Волоцкой, князь церкви, заказал и щедро оплатил иконнику роспись Волоколамского монастыря. Люди знатные, наипервейшие на Москве богатеи, шли к нему толпами: лъстились сделать вклад в монастыри светлыми

образами письма Дионисия. Но всех боле ласкал живописца сам государь Иван Васильевич. Стал Дионисий жалованным иконником, государевым любимцем.

Но лучше бы пропадать Дионисию в безвестности, жить в скудости, в небрежении. Лучше бы ему быть скромным мирским писцом, ходить по Руси с вольной артелью, писать церкви по собственному разуменью. Добро плавал Дионисий по морю житейскому, ясными и тихими ветрами несло его ладью к берегу изобильному. Однако грянула буря вражья, и сотрясло ладью, как лист. В одночасье потерял он Ориницу, верную подругу в трудах и скитаньях своих, занемог неутолимой скорбью. Невесел был Дионисий, необщителен. Примечал он на княжеском дворе прежде непримеченное: княжедворцы предавались корысти да сладострастию. Сам князь был мстителен и лукав. Видно, с умыслом прозвал его Горбуном родной отец, князь Василий Васильевич — убог был духом, мучим надменной гордыней сын Иван.

Уставать стал Дионисий от великокняжеских ласк, от непомерных Ивановых притязаний. Холодно стало его письмо, зело мудрственно. Отблесками славы, а не самой светозарной славой дышали его росписи и богомазные лики. Где должно было Дионисию с разумом пользоваться художеством, дабы продлить государю милости провидения, — он же толпы мирские упоенно писал. Великий князь встревожился. «Да стоит ли писать живых и мертвых на святых иконах молящих, — пытал он у духовника Вассиана. — Пишут же теперь и цари, и князья, и святители, а допережь всего пишут народы, которые живы суть». Худ стал Дионисий для великого князя. А то лучше были иконники — холоуяне, коих немало привезла с собой грекия Софья Фоминишна, вторая жена московского князя?

Тут-то и случилось быть письмам старца Иосафа. Сулил Иосаф забвение всех скорбей в лесах ферапонтовых. Хвалил непомерно новый храм. Прельщал немалыми выгодами. Так-таки тяжело было пускаться Дионисию в неведомый предел, и долго бы он еще раздумывал, если бы не настоял сын Феодосий.

«Истинное иосифлянское благочестие должны мы нести, как крест подвижники, — убеждал он отца. — Та земля Заволоцкая была пятиной великого Новгорода, зараженно-го ныне зловерьем. Самый край государства московского теперь Заволочье. Быть там праведникам московским и московским святителям. Быть там власти князя московского во веки веков».

Только не сына послушался Дионисий, а послушался он своей тайной задумки. В Заволоцкой земле, вблизи от Ферапонтова монастыря, находилась некая заветная пустынь. Возмечтал Дионисий у великого старца той пустыни — Нила умягчить сердце покаянием, вылечить душу безмолвием. Возмечтал он победовать старцу на жестокосердие московских властителей. Выскивают те властители крамолу да смуту, как волки степные, по торговым рядам, по монашеским кельям, по народным гульбищам. Людям, на язык вольным, умом смущенным, в Новеграде колпаки берестяные на головы надели и те колпаки на головах сожгли, а других в темницы бросили, а другим навечно кляпами рты забили.

Был Дионисий от роду незлобив, мягкосерден. Всю жизнь он бежал насилия над ближними, страшился крови, пролитой единоверцами. Ни поносить, ни укорять не хотел почтенный иконник, а только искал справедливости и благолепия в мире.

И хотя скиты среди непроходимых топей и малых берез на берегах речки Сорки были для мирских людей мало-входны, одолеваемый горестными печальями Дионисий тронулся в пустынь в сопровождении левкащика Еремея.

Снег в ту весну долго не таял. Лежал он осевший, похожий на серый, худо простиранный саван. Земля сквозь лунки, желтевшие летошнюю травой, дышала трудно. При редких порывах ветра еловые лапы скреблись по насту, роняли на снег древесную прель и труху. На вывороченных буреломом корягах мерно покачивались сухие комья земли. Коряги взывали жутко и страшно к безликому небу.

Монастырские дроги, на которых бочком сидел Дионисий, сильно стукались о коренья, иное летели книзу, иное по ступицы завязали в болотной жиже. Еремей, почмокивая на лошадь, дремотно валился на плечо живописца, вздрагивал, озирался и снова раскачивался в неодолимой дреме. С тоской и болью глядел Дионисий на разметанный ветром, неприбранный, гибельный лес. Думал он, что скажет отшельнику Нилу, найдет ли в его речах утешенье, уверует ли в исцеленье мирских печалей, измаявших сердце.

Еремей меж тем очнулся от дремы, подобрал вожжи, прикрикнул на лошадь, — дроги резче, злее стали встряхивать седоков. Заструился мелкий березняк, потом ельник — реже, реже — дроги выскочили на сырую болотис-

тую луговину. Скиты пустыни были редко раскиданы по топкому берегу Сорки. Лед на реке вздулся, посинел, пошел глинистыми потоками и черными полыньями. Только ветхая часовенка приметно белела среди скитов. На слабом солнцегреве возле часовни виднелся еловый настил. Дионисий с левкащиком, не видя окрест ни единой души, подошли к настилу, застыли в молчанье. В груди грязного, дурно пахнущего тряпья лежал умирающий инок. Борода его свалаялась в ржавые клочья, смертные тени легли на щеки. Дышал он хрипло, тягуче. Иссяня-бледные губы прилепились к белым крепким зубам.

Сердобольный левкащик торопко сбегал к подводе, достал оловянный ковшик, зачерпнул талой воды из канавы и дал напиток монаху. Тот припал к ковшу: прозрачные капли скользнули по бороде, глотки были судорожны и часты.

— Ай, не дело затеяли, миряне, не дело...

Дионисий с левкащиком враз оглянулись. Перед ними темней насупленной тучи высился старец. Был он осанист и худ. Седая с прозеленью борода свивалась косицами, стекала к лыковой опояске. Рука властно опиралась на тяжелый дубовый батог.

— Блажен, кто возненавидел сей мир и славу его. А вы восхотели земную юдоль инока Поликарпа продлить. Вот я вам и вещаю: бесполезное дело затеяли вы, миряне, в пустыне Сорской.

Старец говорил глухо и строго. Он возвышался над мастеровыми, как сухая тростина над зеленой осокой. И коль скоро Дионисий ехал сюда, погруженный в смиренность, в ожидание целительных откровений, он не сразу дал власть обиде и гневу.

— Не дело другое: как псу, валяться монаху в смрадном тряпье. Он же еще человек, — голос Дионисия был смиренен, но тверд. Тайная горечь метнулась из глаз, притененных тяжелыми веками.

— Что сие человек? — откликнулся резко отшельник. — Вместилище немощей плотских? Мразь земная? Червь, копошащийся у подножья горы? Все едино: он тленен. Ну и пусть под неслыханной мукой, под гнетом, под страхом смиряет телесную плоть.

— Человек — вместилище светлых надежд, — столь же резко ответил ему Дионисий. — Даже в зловонном тряпье он питает надежду на спасенье души, коль не плоти.

Качнулся в суровом молчанье отшельник, повернулся

узкой спиной к скорбному ложу и пошел от пришельцев к часовне.

Так-то с отшельником Сорским повстречался отец Дионисий, так-то вступил он в беседу со старцем, у которого возмечтал найти утешенье. Зло обличал его Нил, поил отравой, пахнувшей тленом. Поносил за смятенность ума, за земную сердечную боль.

«Мудрствуешь о высоком,— наставлял он сурово,— а блаженство отверг, предавшись мирским ремеслам. Жалеешь убогих и сирых, оскорблений не терпишь, поносишь духовную власть придерживающих, не чтишь пастырей, коим открылось всеобщее предначертанье,— много мнишь о себе, славы ищешь земной, а не вечной!»

Что еще говорил ему Нил, Дионисий не помнил. Только, может, острее, чем прежде, он понял одно: вознесенный в гордыне Сорский затворник мнил, что ключи от напастей, от бед человечества у него, у целителя, в левой ладони, а правая сжата в кулак — и перст указующий тычет в него, в живописца, как в несмышлениша, как в греховное, неспособное к разуменью дитя.

Ах, как тягостно, как невозможно мучительно было тогда живописцу. Круги багряные вспыхнули перед глазами, забесновались черные мухи, сердце сжалось, дыханье стеснилось в груди. Упованье его рушилось, словно занос над обрывом, увлекая в паденье его, Дионисия, разум и волю. В глаза, в самый зрачок был воткнут старческий перст. Желтый перст все заострялся, тончал, как коготь хищной птицы, и казалось, вот-вот вырвет очи, зальет лицо сукровицей и слезами, погрузит в кромешную, вечную тьму. И здесь, под безликим и плоским небом, под смрадною мешковиной, будет лежать не безвестный монах, а сам Дионисий, лежать, погруженный в тупое молчанье, в безысходную боль.

На обратной дороге из пустыни Сорской заприметил Дионисий лесную поляну. Там вековую сосну повалило метелью: как видно, лесной понизовый пожар иссушил корни, выжег пламенем сердцевину. И хотя еще зеленела верхушка, был череп и пуст, словно короб, могучий, в темных подпалинах ствол.

Вот таким опаленным, выжженным, опустошенным ощущал себя Дионисий после встречи со старцем. Гулко

было внутри и пусто, как в подземелье. Отвращенье терзало, когда он брался за кисти, разводил олифу и краски. Бежал Дионисий людей, бежал живописной работы, но повсюду он нес пустоту, всюду зрил перед взором надменный указующий перст.

...Очнулся Дионисий от дальнего колокольного звона. Прислушался: звонили в монастыре. Подивился он тому внезапному звону, да и забыл вскоре. Встал иконник с замшелого камня, размял занемевшие ноги, вышел на проселок, снова затюкал своим батожком. Теперь уж недалече до Ильинского погоста.

Дорога вбежала на ладное возвышенье, и тут-то, от двора попа Филарета, открылось лесное озеро, прозванное, как и гора, Цыпиным. Много повидал Дионисий чудных чудес на земле, но краше этого озерка вроде бы и не видавал. Было оно укромным, но светлым, как светлое небесное око. Низкие берега его покрыла черемуха, а на взгорках росли березы, да темные ели, да высокие сосны. У самой воды приютился храм Ильи Пророка. Храм — деревянный, одношатровый, старинной плотницкой работы. Его чешуйчатая, крытая лемехом глава отражалась в неподвижной воде, и чудилось Дионисию, что из глуби вод вздымается еще одно дивное строение, которое колеблется на воде легким платом, течет к другому берегу, рвется отраженными главами.

Дионисий обогнул церковку, заглянул в сторожку Олехи-послушника. Там было пусто. Тогда он сел в тени старых берез, снял камилавку, вытер вспотевший, с большими пролысинами лоб. В кустах редко попискивала синичка. Было так тихо, что доносился всплеск рыбы из прибрежной осоки. Гудели пчелы, облетая душистые соцветья. И эта тишина, прогретая солнцем, пропахшая черемуховым цветом, освеженная озерной водой, захлестывала человека, убаюкивала его, заставляла в полудреме закрывать глаза.

Дионисий бездумно щурился на ослепительно сиявшую гладь озера, наслаждаясь давно ожидаемой радостью тишины и покоя.

Из-за высокой осоки вынырнула лодка-долбленка. В лодке сидел послушник, орудовавший кормилом. Он обрадованно помахал рукой отцу Дионисию, который только молчаливо улыбнулся в ответ: любил живописец послушника за открытый, веселый нрав, за ясный ум и понятли-

вость. Олеха в Дионисии души не чаял. Сдружились они зимними вечерами, когда гостевал живописец у попа Филарета. Зимой иконники безвыходно сидят по избам поселян, по монашеским кельям, пишут иконостасы для соборов, ждут красного лета, чтобы вновь приступить к стеной росписи. Так и Дионисий жил затворником на Ильинском погосте, писал иконы для вологодских, двинских, белозерских монастырей. Но и в летнюю пору искал он на Цыпином озере душевной отрады, утешенья в мудром молчании. Олеха-послушник привык к неторопливому старцу, помогал ему растирать краски, левкасить липовые доски, следить, чтобы не прохудилась у иконника обутьель и одетьель.

Челн ткнулся в илистый берег. Послушник встал, подткнув ряску, выбросил из челна верши, выкидал прямо в траву окуней и плотвичек, подошел к сидящему живописцу.

— А что, отец Дионисий, не заварить ли нам ушицу? Вкусна ушица из сладкого окунья...

Дионисий, будто не слыша, по-прежнему щурился на солнце, перевалившее за полдень, идущее к заходу. От солнечного тепла морщины на лбу его разгладились. Лицо обмякло, подобрело. С-полузакрытыми глазами был Дионисий благостен, как библейский старец, но стоило ему вскинуть веки, как в глубоко запавших глазницах начинали поблескивать карие молнии. Они озаряли лицо тревожным светом, искушающей, пытливой мыслью. Прежде чем ответить, Дионисий долго смотрел на вопрошавшего, словно пытал его тайной, пронзительной до дрожи, ведомой одному живописцу, и, только встретив взгляд, отвечал.

— Добро, мой сын, добро, — будто очнувшись, промолвил Дионисий. — Только скажи: нет ли в сторожке цки липовой, хорошо пролевкашенной, да яиц, да кистей.

— Как, отец Дионисий, не быть... Я единым дыхом...

Живописец благодарно взглянул на послушника и снова погрузился в глубокую думу.

С самой зимы не знал Дионисий такого молодого, до суши в горле порыва, такой яркой потребности писать. Хотелось ему немедля взять в руку тоненькую, как стебелинку, кисть и замереть, затаиться перед первым мазком.

Запыхавшийся Олеха расстелил холстинку, развел в скорлупках нежный яичный желток, добавил соли, растворил краски. На липовую доску головенкой — березовым угольком — Дионисий нанес знаменье — первую прорись:

лик под мафорием, тонкую шею, кисти рун. Послушник, видя, что Дионисий при деле, ушел разводить костерок, скребком чистить плотвичек.

Доска была махонькой, всего в две ладони, но Дионисий писал деву Марию с тщанием и любовью, нет, с душевным трепетом, словно то был средник великого деисусного чина. Он положил на левкас бледно-серебряный тон, потом высветлил лик, потом положил пробелы.

Закатное солнце клонилось к Цыпиной горе. Оно поило округу золотиносной пылью, крыло сосны кованой медью, а молодые березки — слабою желтизной. Небо над живописцем было светлой — до головокруженья — лазури, но Дионисий впился взглядом в доску. Он отрывался только затем, чтобы осторожно макнуть кисть в скорлупу и снова сделать легкий движок.

Тонко-тонко запел первый комарик. В кустах, у самой воды выщекотал соловей. Из глубины заозерного бора, сквозь скользящие волны вечернего света, летело гулкое кукованье. И тогда, казалось, стихало треньканье, звеньканье, попискивание, перепархивание в прибрежных кустах, чтобы, едва смолкнет голос кукушки, снова слиться в согласный победительный хор. Озерцо, блестящее слюдой, было окольцовано тем многоголосым гомоном птиц: перед заходом всякая тварь славилась день, проведенный в делах и заботах.

...Дионисий со вздохом облегчения отпрянул от поставца. Подошел Олеха-послушник, заглянул через плечо и не мог оторвать взора от дивного образа.

Нежен и сладостен был лик девы Марии. Сросшиеся на переносице брови гнулись крутыми дугами: угадывалась в разлете бровей сила. Уголки рта, писаного черленью, теплели душевную доброту и сердечность. Но чудны вельми были очи Марии: вся радость и печаль мира была в зеленовато-голубых очах. Очи жили, в глубине их светились два крохотных животворящих пламени.

— Отец Дионисий, то есть Одигитрия? — простодушно спросил послушник, когда наслаждался невиданным зрелищем.

Прищурился мастер, разглядывая творенье сердца и великого живописного дара, словно откуда-то из дальней дали.

— Нет, Ориница, — коротко молвил в ответ.

И вздохнул. И подумал: как и младшего сына, однако совсем по-иному, одолело его мирское письмо. Мало божественного в новом лике, а посему никто, кроме Олехи-послушника, не будет видеть писанный в жару и душевном ознобе образ Ориницы.

Не знал того послушник: в неведение возмечтал он, как затеплится свеча перед иконой, как в жаркой молитве он забудет треволения прелестного и мимотекущего света сего. Ах, Олексей, Олексей, не мечтай, взгляни еще раз, запечатлей в простодушном сердце своем Ориницу и утешься.

Долго не мог охолонуть Дионисий от сладостных, пережитых им за писаньем волнений. Они же радовали его целительной силой, просветленьем ума, изнемогшего в ожидании тьмы кромешной. И теперь на закате, у светлой озерной воды, закончив невиданный образ, Дионисий дивился мудрости слов, изреченных содругом его Митрофаном. Голосом тихим, как шелест вечерней листвы, вещал Митрофан: «От трудов своих мученических будешь иметь ты печали многие, но в тех же трудах найдешь великое утешенье».

В багряном огне заката, под сенью дуплистых берез, хлебал Дионисий с послушником Олехой окуневую уху. Навариста и воистину сладка была ушица. Обжигала рот, веселила тело. Добрая истома разливалась от нее по рукам и ногам, и не было сил встать с приозерного луга, пойти в сторожку, которая до притолоки была забита душистым сенцом. На том молодом, духовитом сенце крепко, как в дни первой молодости, спал Дионисий. Снилось ему Ориница в ромашковом полевом венке. Смеялась зазывно, лукаво. Манила к себе. Звала.

Когда проснулся иконник, в морщинах щек не высохли слезы. Звала его мать Ориница, звала в горный край, в неблизкую дорогу. Иконник лежал в сторожке, не открывая глаз, боясь вспугнуть отсветы сновидений. Потом встал, надел ряску, обул татарские сапоги, просушенные Олехой-послушником, и задолго до первого луча пустился в обратный путь, в Ферапонтову обитель.

На севере июньские ночи светлее зимнего дня: малиновая заря сливается с нежно-розовым восходом, и свет ве-

черней звезды во всем подобен свету звезды утренней. В этом нежном розовом озарении густые травы сникают под тяжестью скатных жемчугов: роса серебрится на травах тускло, дымчато. Пичуга выпорхнет на проселок, попрыгает, пошьет, сладко прижмурив глазок, из чаши придорожной мать-и-мачехи и вспорхнет с тонким писком. Так было и в ту светлую ночь.

Высоко и прохладно встало над Дионисием небо. Шел он споро, но неторопливо, как странник, привыкший к долгой дороге. Вскоре показалась деревенька Лещово. За Лещевом, в низке, где вода подступила к самой обочине, от берега отошла рыбацья лодка. На невозмутимой глади она оставляла долгие мерные круги. Гребец, налегавший на весла, сказал вполголоса напарнику: «Спел бы ты, Федюха, отвальную?..» Тот, сидя спиной к Дионисию, что-то ответил. Гребец рассмеялся и снова налег на весла. Лодка терялась, таяла на глазах, как вдруг над неподвижной водой, отражающей звезды и дальний синеющий бор, полилось, заплескалось:

Ах, плавала лебедушка по морюшку,

Плавала белая по синему.

Ах, да, плававши, она, лебедушка, воскликнула

Песню лебединую последнюю...

Защемило сердце у Дионисия от молодого чистого голоса холопа, от его протяжного зова, всколыхнувшего дрему рассвета. Вот и лодка скрылась в озерной дали, а голос певца все еще растекался над водною ширью. Дионисий постоял, долгим взором, будто прощаясь, оглядел земные просторы и стал подыматься в гору к воротам монастыря.

Когда он вошел в обитель, прямо перед ним воссиял благолепный собор. Белокаменные стены чуть порозовели от рассветных лучей. Глава парила в утренней голубизне. Дионисий медленно приблизился к лестнице, и тут-то он увидел то, что трепетно ожидал, к чему стремился с такой нетерпеливостью, на что надеялся, о чем думал в тоске и неотступной кручине, но что, однако же, поразило его тем сильнее и глубже, чем горше были его сомненья и ночные страхи.

В прозрачном воздухе во всей первозданной чистоте красок предстала перед ним роспись главного входа. Высоко к деревянному скату вознесся «Деисус». Перед престолом сына богоматерь смиренно молилась за род людской,

за всех страждущих и скорбящих. Ниже, по правую и левую руку, в росписях были представлены «Рождество богородицы» и «Ласканье младенца». Еще ниже — два ангела. Левый ангел на дорогом пергаментном свитке писал имена вступающих в храм. А по самому низу развевались два белых платя с крупными медальонами посредине.

Какой радостью, миролюбием и кротким согласьем веяло от «Рождества богородицы» и «Ласканья младенца»! Роженица, праведная Анна, полулежала на широком ложе. Голубое одеяло прикрывало ее. Служанка в зеленом хитоне подавала Анне питье в золотой чаше. Чуть поодаль стояли две соседки: одна с высокой прической в розовой накидке говорила что-то другой, а та держала в руках сосуд и внимала ей вдумчиво и спокойно. Внизу, у купели, девушка пробовала воду, тепла ли вода. Ее подружка держала на коленях младенца.

А за сей дружелюбной, погруженной в светлое умиротворенье семьей, за палатным письмом с портиками, колонками, дымчатой занавеской голубело такое высокое и чистое небо, что отблески его, казалось бы, падали на кирпичи галереи.

Понимал Дионисий: дерзкий вызов бросал он не только юдоли земной, но времени, веку. Он бросал свой вызов братоубийственным войнам князей, нечестивым властителям, всем, кто сеет раздоры и муки.

Вопрошал Дионисий: «Так ли жить надо, люди?» Отвечал он: «Вот так надо жить вам: постигайте счастье привета и ласки, доброты и семейной отрады. Встречайте рожденье младенца с любовью, любите друг друга, как Анну любил Иахим, как любит вас всех дева Мария».

Восходил Дионисий, озаренный лучами, на широкую паперть. Он хотел увидеть, нет, он услышать хотел, как звучит его стенопись в Рождество-богородицком храме. Вошел старый иконник под гулкие своды. Вошел и закрыл на мгновенье глаза. Послышался слитный гул молящихся. Дыханье людских множеств витало в соборе. Шелест парчовых риз, звон браслетов, бряцанье мечей окружили иконника. Но, заглушая шорохи, вздохи, звоны, молитвы, грянул акафист: «Радуйся чудо чудес, Одигитрия владычице».

Дионисий открыл глаза. Вроде бы все так и было: текли людские толпы, парили праведники в небесной лазури, сидели, едва прикасаясь к седалищам, мудрые старцы. Однако акафист звучал приглушенно. Тонкие пальцы девы Марии согнуло болью. Лик богоматери, повторенный мно-

жество раз, был непроницаем. Не ласканье, не умиление являл он — одну величавую отчужденность. Но толпы людские текли и текли. В дорогих одеяньях, в рубищах, в легких хитонах, в воинском позлащенном убранстве. Взывались на крутые горки кони волхвов. Прорастали болотные травы. Рыкали диковинные звери. Журчали хрустальные родники. И снова роспись сплеталась в янтарно-лазуревую многовещанную вязь, в которой все время тревожно, настойчиво звучал вишневый мафорий девы Марии.

Близко к полудню Дионисий спустился со стремянки, на которой стоял он с утра, расписывая Николу в дьяконнике.

— Феодосий, — позвал сына. — Как кончим роспись собора — на софите северной двери крупным уставом напишешь: когда подписан сей храм... — подумал, потом пояснил: — И кем...

Феодосий не скрыл удивленья:

— Для чего, отец, сие дело?

— Дабы потомки не променяли наших простых речей на краснейшие, — ответил ему Дионисий, пошел к стремянке заканчивать поясного Николу, остановился. — Дабы не были их сужденья вне истины.



**П И С Ь М А
С Д О Р О Г И**

Жизнь—это дорога, а над ней звезда.

Юрий Олеша



ПОСВЯЩАЮ КАРЕЛИИ

ПО СЛЕДАМ АНТИКАЙНЕНА

Есть строчки, есть стихи, которые обладают одной примечательной особенностью: ты твердо знаешь, что пережил то же самое, что и их автор, но вот почему-то не догадался об этом сказать вслух, не удосужился сесть и хотя бы одним словом закрепить мелькнувшую счастливую находку.

Так было и со мной, когда —
хоть убей — не помню где — я вычитал:

В карельских лесах заплутала
Военная юность моя.

Моя юность тоже заплутала в карельских лесах. Двадцать два года минуло с той поры, как молоденьким лейтенанчиком, выпускником московского военно-инженерного училища, с кирзовой кобурой, с кирзовой полевой сумкой я перемахнул через борт фронтовой полуторки и спрыгнул на пыльную обочину. Кругом громоздились замшелые, потрескавшиеся валуны. Многие из них были подрыты, края лазов и нор засыпаны пожухлой хвоей и маслянисто желтевшими автоматными патронами. Редкая рваная тень сосен падала на камни, хранившие отметины снарядных и минометных осколков: они грудью приняли на себя чью-то смерть. Высоко синело июльское небо. Я прошел вдоль обочины и наткнулся на первую солдатскую могилу. Сосно-

вый столбик истекал янтарной смолой, — капля смолы тянулась по столбу, приметно лучась на солнце. Жестяная звездочка была в пятнах ржавчины. Песок на могиле осел. Я постоял у безымянного холмика и беспечно зашагал дальше, навстречу глухому, неумолчному гулу передовой.

И вот снова — жаркой июльской порою — я с пристальным вниманием вглядывался в каждый придорожный камень, в каждый поворот пустынной лесной дороги. Мне казалось, что вот сейчас, отогнув от лица колючий лапник, выйдут ребята в маскхалатах, подымут руку и, когда машина остановится, скажут: «А ты, младший, вовремя прибыл. Будешь делать проходы в минных полях: ночью берем языка!» И вся моя сегодняшняя жизнь, все мои тревобления, беды, обиды, гонка на такси из одной редакции в другую — все это окажется чем-то нереальным, ненастоящим, как тревожное забытие перед рассветом, когда явь и сон непрерывно меняются, рвутся, словно старая кинолента, томят ожиданием чего-то, что разом разрешит все твои сомнения и все напасти. Но ребята не выходили ни у этого поворота, ни у следующего, и только время от времени на вершинах каменистых высоток вставали бетонные обелиски.

Сбегали сосновые рощи
Напиться озерной волны.
И думалось чище и проще
О судьбах любви и войны...

Да, вблизи от этих серых остроконечных обелисков думалось чище и проще и о судьбах окаянной, по-человечески трудной любви и о войне, которую не стереть в памяти никаким силам на свете.

Измотанный тряской дорогой, я выходил из автомашины, бродил по старым, столь памятным местам, бродил там, где заросли мелкоколесьем окопы, покосились колы проволочных заграждений, где когда-то

...пели в потемках осколки,
Шарахались мины окрест,
Где высились низкие елки,
И каждая елка как крест.

Так оканчивалось стихотворение «Тропинку трава заплетает». Нашел я эти стихи в двухтомнике Михаила Дудина, участника финской кампании и — позднее — обороны Гангута, обороны Ленинграда с первого до последнего

дня войны. Но летом на ухабистой лесной дороге, ведущей в Кимас-озеро — конечный пункт моего маршрута, я этих стихов не помнил, однако почему-то думал, что стихи должны быть именно такими, и даже образ «каждая елка как крест» должен быть в этих стихах, прерываемых горьким, невольным вздохом сожаленья.

Итак, я ехал в Кимас-озеро! Мне обязательно надо было попасть в этот далекий, почти у самой государственной границы поселок. Среди многих побуждений, которые владели тогда мною, не последнее место занимало и любопытство, желание посмотреть легенду моего детства. Ведь с Кимас-озером меня связывали воспоминания даже не юношеских (я не был там в дни войны), а детских лет. Высокие истины, до которых мы немалые охотники, нередко набивают оскомину, начинают лосниться, как потертое сукно. Так, например, мы часто говорим о воспитательном значении литературы, но говорим подчас об этом с какой-то обидной скороговоркой, с какой-то казенной обязательностью в голосе. Мы забываем, как активно, настойчиво формирует наш душевный облик, наш внутренний мир повседневная книжная продукция, тот обильный кинематографический поток, который струится с серебристо мерцающих экранов на подростков — самых восторженных почитателей кинематографа.

Среди кинокартин, выпущенных в предвоенные годы, теперь редко упоминается одна — «За Советскую Родину». Эта картина была сделана по повести Геннадия Фиша «Падение Кимас-озера», и повествовала она о легендарном зимнем походе отряда Антикайнена по вражеским тылам в 1922 году. Помнится мне, на нас, учеников вологодской школы, эта картина оказала незабываемое впечатление. Наши лыжные прогулки приобрели новый смысл: вооружившись самодельными пистолетами, мы гонялись друг за другом по заснеженным перелескам с утра до позднего вечера. А через год лыжные батальоны шли через Вологду на фронт в Карелию, и в письме двоюродного брата Виктора, который был немногим старше меня, я прочитал странное название Териоки и узнал, как трудно выискивать «кукушек» в непроходимом лесу, как надо беречь и понимать лыжи, не раз спасавшие ему жизнь.

Забегая вперед, скажу, что, работая над очерками о Карелии, я перечитал «Падение Кимас-озера» и еще раз, как говорится, пережил эту небольшую повесть, пережил тяготы и лишения, выпавшие на долю небольшого отряда курсантов-интернационалистов. Под командованием Тойво

Антикайнена они совершили трехсоткилометровый переход по январским снегам, тоням и озерам и, с ходу разгромив штаб белофиннов в Кимас-озерской, способствовали утверждению Советской власти в Карелии. Конечно, в книге немало наивной для современного читателя публицистики, характерных для того времени стилевых оборотов и речевых штампов, но ее пафос — пафос беззаветной преданности идеям Октябрьской революции, железной классовой дисциплине — невозможно не оценить и по сей день. Книга эта, в отличие от иных бравых сочинений, написанных по принципу «шапками закидаем», настойчиво учила упорству в достижении цели, мужеству, героизму.

Одним словом, «Падение Кимас-озера» была и остается честной, хорошей книгой писателя-современника.

И вот к вечеру, когда я был вконец измотан дорогой, наш мощный лесовоз подъехал к жердевому отводу, обычному для северных деревень. На узком полуострове виднелись дома поселка. К воде сбегали крохотные баньки, какие-то сарайчики. На другой стороне залива белела крыша лесничества с четким опознавательным знаком «Т»: Кимас-озеро!

Дождливым вечером, когда в жарко натопленной комнатухе было особенно уютно и домовито, мы разговорились с хозяйкой, Татьяной Егоровной Богдановой, пожилой карелкой с морщинистым лицом и красными от воды и стужи руками. Я люблю деревенские сумерки: тикают ходики на стене, полумгла медленно заливает комнату, и только изредка доносятся с улицы глухие порывы ветра и скрежет железного листа на соседней крыше. Лицо Татьяны Егоровны смутно белело в темноте.

— Знаете ли вы что-нибудь об Антикайнене? — спросил я хозяйку.

— Как же, как же, — охотно отозвалась она с тем певучим смягчением звонких согласных, которое невозможно передать на бумаге, но которое сразу же отличает жителя Карелии. И Татьяна Егоровна рассказала мне, как девочкой она увидела однажды возникшие в метели фигуры солдат. — Вон с того берега, — показала мне она, — слетели они на озеро, в белых балахонах, в шапках с красными звездами, стреляя на ходу, крича «ура». Тогда же у нас и школу сожгли: в ней был штаб белофиннов, и склады разные, и домов несколько.

В рассказе моей хозяйки не было каких-то особенных деталей и подробностей, — да и что могла запомнить ма-

ленькая девочка в то метельное утро, когда отряд Антикайнена ворвался в деревню. Но то, что пожилая карелка сама видела этого легендарного человека и его бойцов, что я находился в деревне, которая была для меня раньше чем-то отвлеченным, условным, фантастическим, вроде клондайских зимовок в рассказах Джека Лондона,— все это взволновало меня неизъяснимо.

Так книга детских лет соединилась с жизнью, и я не знаю, какому впечатлению мне отдать должное, что сильнее и глубже поразило меня.

ПОЮЩИЙ АВТОБУС

На станции Кочкомá, в сотне метров от Беломоро-Балтийского канала, мне довольно долго пришлось ждать рейсовый автобус. Я кружил вокруг телеграфного столба, к которому было прибито расписание. Кружил, напоминая плотву, посаженную на кукач, злился и все-таки не решался отойти далеко в сторону: автобус мог прибыть с минуты на минуту, а у столба его поджидала толпа пассажиров. Наконец из-за поворота вынырнул запыленный ковчег местного назначения,— и начался штурм задней дверцы.

По наивности я думал, что Кочкома — это почти край света, и я буду ехать две сотни километров, наслаждаясь пейзажами Карелии, прославленными во всех путеводителях и туристических справочниках. Между тем все было точно так же, как у нас на Дмитровском шоссе в часы «пик», только, может быть, побольше мешков, узлов и чемоданов, да поменьше портфелей и сумок. На остановках мне приходилось выходить, ожидая, когда из автобуса вырвутся распаренные пассажиры, и по возможности первым вклиниваться обратно.

Однако с каждым километром в салоне что-то утрясалось, что-то перемещалось, и в конце концов я получил возможность притулиться на одно сиденье с кондукторшей, разбитной, словоохотливой девахой. Повернувшись к ней боком,— делать нечего: теснота — я прильнул к окну.

Я впервые был на севере Карелии и понятно, что хотел набраться свежих впечатлений, как говорят на заседаниях творческих секций. Но набраться этих самых впечатлений мне никак не удавалось: мимо текли редкие сосенки, мелькали замшелые валуны, вздымались, пропадали

горы камней, и снова струился редкий сосняк со сквозной, как бы дымчатой хвоей. У себя на родине, в вологодском крае, я насмотрелся этих сосенок, этих валунов вдоволь. Но здесь почти все время за сосняком виднелась вода. Она стояла голубой стеной, и эта стена то подступала к обочине, то едва-едва просвечивала сквозь волнистый частокол: ее присутствие угадывалось всегда, угадывалось во всем. Глядя на эту манящую голубизну и прохладу, я решил припомнить, сколько же озер в Карелии, но вспомнить никак не мог, хотя и пытался приблизительно прикинуть — ну, тысяча, пять тысяч, в крайнем случае десять тысяч. Лишь в Петрозаводске от знакомых узнал я астрономическую цифру — сорок четыре тысячи — вот сколько, оказывается, больших и малых озер в Карелии!

Во время моих скитаний по родине «Калевалы» я был постоянно окружен синевою и зеленью. Да, только синевою и зеленью, да еще, пожалуй, серебристо-серым цветом старого дерева — серым от многолетних дождей, снегов и ветров, сбивающих наповал.

Мелькание сосен, валунов, песчаных осыпей быстро утомило меня, и я перевел глаза в салон. Виднелись пестрые косынки пассажирок, их темные жакеты да коричневые шелковые плащи. Большинство женщин было в пожилом, если не сказать, преклонном возрасте. Сквозь однообразный рокот мотора, скрип сидений, позвякивание железок и стихающий детский плач ко мне не сразу пробился негромкий голос. В передних рядах кто-то пел. Пела женщина, пела для себя, про себя, чтобы скоротать скуку дальней дороги. Но голос ее все-таки заставил прислушаться, уловить мотив. И вдруг — совершенно неожиданно дружное трехголосие:

И снова у проходной
Встречает милый меня.

Я вздрогнул и немного оторопел. Уж очень согласно, до удивления красиво зазвучала песня. Теперь не одна, не две, не три пассажирки, а казалось, весь автобус принял ее, как свою, развернул свободно, дал ей силу и пронзительную — до мурашек — выразительность. Слушая этот хор, я думал, какую неожиданную радость принесла мне встреча с Карелией. Неужели всюду так правильно, многогласно поют в хвойных лесах? Что женщины — карелки — я догадался по их мягкому акценту и голубым, первозданной синевы глазам, как будто с детства освещенным синевою большой озерной воды. В автобусе

между тем стали слышаться заказы: «Вечерком на реке!» — «Сормовскую лирическую!» — «Костры горят далекие!»

— Нет, нет,— убеждала всех кондукторша,— пусть спуют эту... Как ее? Да там еще есть слова... ну, как их? Ну, что кавалеров мне вполне хватает, но нет любви хорошей у меня.

И женщины безотказно пели про зори, про костры, про кавалеров, которых, судя по всему, действительно вполне хватало нашей кондукторше. Вкладывали они в задушевные слова свое неутоленное, незаглушенное невзгодами, былое, увы, для многих уже былое, страстное желание взаимной любви и счастья. Они как бы вновь переживали молодость, выпевали ее невозвратимое очарование, ее радости и ее беды, они жили этими песнями, они отрекались от себя, дородных матерей семейств, старых домохозяек,— и разом помолодели, покрасивели, если можно так сказать.

Наконец парень, впрыгнувший на одной из остановок в автобус, догадался и крикнул: «Карельскую! Просим карельскую!» Женщины поотнекивались, мол, неинтересно будет, но, когда все пассажиры стали их уговаривать, они сдались. Трудно, не зная языка, до конца постигнуть красоту и выразительность исполнения, но едва женщины смолкли — в автобусе на время установилась тишина. Сами женщины притихли, потрясенные неостановимым, как прибойная волна, раскатом мелодии.

Я не выдержал, перегнулся через спинку сиденья и спросил у ближайшей соседки: о чем эта песня?

— Это о девушке, которая живет у моря,— сказала она.

— Ну, а вы кто? — решил я наконец выяснить загадку, мучившую меня всю дорогу.

— А мы самодеятельный карельский хор из Реболы. Ездили на праздник торговли в Сегежу. Да вот, видно, пе напелись,— она улыбнулась, выждала такт и подхватила вместе с подружками громко и счастливо:

Люби, покуда любишься,
Встречай, пока встречается.

...С наступающими сумерками автобус въехал в Тикшу — поселок лесорубов, в котором я должен был сделать остановку. И хотя двести километров остались позади, хотя я уже сутки не спал в дороге, жаль было расставаться

с этим районным ковчегом. Кажется, еще минута и я тронулся бы вместе с ними на Реболу. А до Реболы — без малого триста километров и пришел бы автобус в три ночи!

кижи

Кижы ныне прославлены. Кижы знамениты. Кижский музей-заповедник называют «островом сокровищ», издадут о нем фотоальбомы, серии цветных открыток, выпускают в продажу памятные сувениры. На дорогах Карелии то и дело встречаются рекламные щиты: «Кижы — уникальный архитектурный ансамбль: посетите Кижы».

Несколько раз в день от причалов Петрозаводска отходят вытянутые, как ракетоносцы, «Метеоры», юркие речные трамвайчики — и сотни туристов высыпают на зеленую луговину перед оградой Кижского погоста. Здесь их встречают опытные экскурсоводы и, не дав опомниться, внушают им, что перед ними замечательный памятник деревянной архитектуры, образец народного зодчества, что высота главной Преображенской церкви — 37 метров, иначе говоря, высота двенадцатиэтажного дома, что в основе церкви лежит восьмигранный сруб с четырьмя прирубями, на сруб поставлены еще два восьмерика, что вытянутые полуцилиндры кровель — это бочки, а на бочках расположены 22 главы, крытые лемехом — тонкими осиновыми пластинами, — и многое другое внушают ученые экскурсоводы своей менее ученой экскурсантской пастве. Четко, деловито, как говорится, в стиле века.

Покаюсь, стиль этот я не то чтобы не принял совсем, нет, разумом я его принимал, но вот что касается души...

В общем, я не уехал из Кижей ни в этот день, ни на следующий. На противоположном берегу, перебравшись через пролив, я разыскал Алексея Ивановича Авдышева, чей «Кижский альбом» поразил меня еще в Москве. Жил Авдышев вместе с женой Валентиной Михайловной — тоже художницей — в просторной деревенской избе и встретил меня по-деревенски радушно.

Естественно, мы разговорились о том, какое впечатление на меня произвели Кижы. Сам Алексей Иванович — старожил этих мест. Он знает здесь каждый камень, каждую отмель, рыбачит ранней весной и поздней осенью и пишет «картинки», как иронически говорит о своей работе. Теперь к Авдышеву пришел заслуженный успех. Но успех его линогравюр — лирики в черно-белых тонах —

объясняется не только талантливостью и трудолюбием художника. Когда мы вышли на высокое деревянное крыльцо, то в глаза бросился плоский остров Кижь, дебаркадер, моторки, лодки, ныряющие в озерных волнах, а главное, — храм Преображенья и соседние с ним колокольни и Покровская церковь, которые действительно составляют с храмом единый ансамбль.

Зная, как много художников пытается выразить резцом — на линолеуме и дереве, кистью — на холсте и бумаге нечто колдовское, присущее Кижскому погосту, я думал раньше, что Алексею Авдышеву просто повезло. Но здесь, присев вместе с хозяином дома на перила крыльца, я понял, что за этим везением по существу стоит вся сознательная жизнь художника. Чтобы так «повезло», надо было не просто часто бывать в Заонежье, но и вырасти здесь, найти себя в зрелые годы не в чем-нибудь другом, а в том, что с детства было перед глазами, что ты всегда любил неосознанной любовью, к чему тянулся не проснувшимся еще для творческого деяния сердцем. Именно с детских лет влюбился в Заонежье Алексей Авдышев.

— Однако как вам Кижь? — повторил он вопрос.

Я попробовал отшутиться, но потом признался, что ожидал чего-то большего. Когда с верхней палубы «Метеора» впереди замаячил погост, мне он показался хрупким, вроде старинной этажерки, нереальным, даже каким-то ненужным среди россыпи каменистых островов вспененных вод, бездонного утреннего неба.

— Не так надо смотреть Кижь, как вы смотрели, на ходу, вполглаза, — с укором заметил мне Алексей Иванович. — Надо видеть их при восходе солнца и при закате, при вечернем тумане и нудном дожде, при тихом месяце и шестибальном шторме. Попробуйте, проплывите вокруг острова, поворачиваясь, как подсолнух на солнце, на Кижский погост, — и тогда вы, может быть, — он повторил в раздумии, — может быть, поймете, что такое Кижь!

Я с сомнением покачал головой, и мы оба, по молчаливому согласию, больше не возвращались к этому разговору.

...Случилось так, что на утлой лодчонке, взятой напрокат на турбазе, я выехал порыбачить в озеро за деревню Ольхино. К юго-западу от меня возвышалась церковь Преображенья. На плоском, слегка холмистом острове она невольно приковывала взгляд. И я стал машинально взгля-

дывать на нее всякий раз, когда мою ветхую ладью разворачивало ветром к востоку. И чем чаще я взглядывал на нее, высившуюся на дальнем краю острова, тем мучительнее сознавал, что она все-таки близка мне. Напоминала она что-то неуловимо знакомое, виденное множество раз и вместе с тем не бывало величавое, вечное. Погост, четко врубленный в небосвод, не казался как прежде хрупким, ненужным среди этой глубины и шири, он вписывался в темнеющую воду и в блекло-желтоватый край небес органично и просто, как вписывается... Нет, я не мог найти сравнения, хотя чувствовал, что оно где-то рядом, где-то вблизи. Как вписывается — нашел! — как вписывается шатровая ель, столетняя ель, краса и гордость северных лесов. Да, именно так, как шатровая ель, поднимающая уступы ветвей в желтый закат. И народные умельцы, ставившие эту церковь, и мастер Нестор, который, по преданию, окончив строительство, бросил топор в Онего со словами: «Не было, нет и не будет больше такой!» — все они, безымянные плотники и мастеровые, выросли в заонежских лесах, сберегли в сердце своем любовь к лесам и к седым красавицам елям. Внутренним чувством, интуицией истинных художников они шли к этому сходству, догадывались о нем, может быть, добивались его, чтобы фантастически стройный, многоглавый, деревянный собор своими контурами не разрушал очарования закатов и восходов, лесных дебрей и светлых вод, а дополнял бы красоту каменистой, неласковой и все-таки щедрой к труженику матери-земли.

...Чтобы вернуться к себе домой, мне надо было или обогнуть оконечность острова, или, оставив на время лодку в кустах, пройти на турбазу пешком. Выдохнувшись с непривычки на веслах, я решил идти пешком. Дорога шла по гребню острова, стесненная с двух сторон неровными грядами камней. Вправо и влево от меня сбегали к воде пологие склоны. Эти склоны тоже были разделены оградами из крупных и мелких валунов. Солнце тихо стограло в густеющей мгле. Я не видел погоста, он остался у меня за спиной, но чувствовал его, потому что нес в себе радостное для меня открытие. Я понял, по-своему понял мастерство строителей Кижей, и это понимание сделало меня богаче, чем прежде. Каменная гряда неотступно бежала сбоку, и я смотрел на нее и размышлял теперь совсем о другом. Не доисторические ледники нагромодили

эти камни, нет, они были все сложены человеческими руками!

Из поколения в поколение, из рода в род крестьяне острова Кижи, уходя с луговины или с клочка пашни, уносили с собой камни — не им самим, так их детям, внукам, правнукам этот камень мог поломать остро заточенную косу, повредить копыто коня, ушибить ногу. Они складывали их в груды, груды росли, ширились, пока наконец не образовали этот нескончаемый гранитный лабиринт. Эти лабиринты не попали ни в один путеводитель, ни в один фотоальбом. Но не будь их — вечных памятников крестьянскому труду и терпению, — не было бы Кижей, не было бы многовековой лесной сказки, срубленной из дерева и явившей миру, как щедро талантлив русский человек.

Вот почему теперь я говорю вместе со всеми: Кижи — уникальный архитектурный ансамбль, посетите Кижи. Только, пожалуйста, прислушайтесь к совету моего друга художника Алексея Авдышева и научитесь смотреть не вполглаза, а во все глаза на этот остров сокровищ.

О «КАЛЕВАЛЕ»

Карелия немыслима без «Калевалы». Сейчас, спустя сто тридцать лет после первой публикации народного эпоса, можно уверенно говорить об этом. Влияние «Калевалы» на художественную, литературную жизнь Карелии глубоко и непреходяще. Подвиг безвестного сельского лекаря Элиаса Лённрота, который, скитаясь по глухим волостям и приходам беломорской и тогдашней финской Карелии, записал десятки и десятки тысяч стихов, а затем, отобрав из них более двадцати двух тысяч (цифра сама по себе грандиозная), составил окончательный текст «Калевалы», — этот жизненный подвиг трудно переоценить. Конечно, у меня, как, вероятно, и у других собратьев по перу, жила надежда увидеть и послушать рунопевцев: вдруг мне повезет, и я хотя бы несколько строф великого эпоса услышу из уст деревенского старика или старухи. Между тем надежда эта была призрачной, неосуществимой. Еще в первой половине прошлого века, когда Лённрот «пожинал урожай рун на песенных полях Карелии» (О. Куусенен), рунопевцы были редки: период высшего расцвета героико-эпических сказаний миновал. Архип Перттунен, бедный крестьянин из местечка Латваярви, патриарх певцов рун, едва не плакал от волнения, когда рассказывал

Лённроту, как редко, по сравнению с прежними временами, стало рунопевческое искусство и насколько меньше он знает рун по сравнению со своим отцом, с которым никто не мог сравниться в целой округе.

И все-таки я услышал «Калевалу»! В Карельском государственном музее хранится запас магнитофонных записей рун, заонежских былин, песен, причитаний. Этот запас пополняется экспедициями этнографов, фольклористов, которые отправляются в дальние районы Карелии и с трудом разыскивают последних, увы, последних исполнителей рун и былин. В музее шел ремонт, но мне отвели какую-то пустую комнату, заставленную шкафами, принесли магнитофон и включили запись. С крутящейся ленты послышался тягучий медленный речитатив, и на миг повеяло такой стариной, такой древностью, что я забыл и об этой неуютной комнате, и о гудках автомашин, доносившихся с улицы, и вообще обо всем на свете. Подобное чувство мне довелось испытать однажды, когда на другом конце страны — в Бурятии — старик, с почти пергаментным лицом и обвислыми щеками, покачиваясь и полузакрыв глаза, пел древнюю песню своего народа. Однотонностью, суровой заунывностью его песня походила на руну в исполнении Марии Ивановны Михеевой. Запись этой руны сделал в селе Калевала доктор филологических наук В. Я. Евсеев.

Руны по традиции исполнялись мужчинами вдвоем — запевалой и его помощником. На берегу, у рыбацкого костра, в охотничьей избушке, засыпанной снегом, в теплой просторной избе в окружении односельчан, они садились друг против друга, брались за руки и начинали петь. Оба поющих покачивались взади вперед, как будто попеременно перетягивали друг друга, и, так покачиваясь, запева-ла начинал каждую строфу один, а к концу строфы к нему присоединялся помощник, повторявший затем строфу целиком. Пение рун нередко сопровождалось игрой на кантеле.

У карельского скульптора — резчика по дереву Ю. О. Раутанена есть небольшой барельеф «Рунопевцы». Два пожилых карела сидят на скамье друг против друга и, взявшись за руки, поют. За ними — камин, сложенный из грубых камней, дым расстилается под низким потолком, и вся обстановка лесной избушки как нельзя больше подходит к суровому, мужественному пафосу «Калевалы». Долго я разглядывал этот барельеф, мысленно довоссоздавая то, что мне так и не удалось увидеть воочию.

«Герои «Калевалы» не боги, а люди, живущие полнокровной жизнью» — эти слова О. В. Куусенена позволяют многое понять в великом карельском эпосе. Люди эти живут в необычном мире, полном чудесных превращений и простодушной прелести, их речи, действия, поступки тоже необычны, сказочны, условны. Однако фантастика и условность в эпосе тесно переплетены с повседневным бытом пахарей, воинов, рыбаков, охотников — жителей светлой страны Калевы, Калевалы. Насколько неразрывна эта взаимосвязь, показывает хотя бы такой эпизод. Старый, верный Вяйнямейнен как-то ехал на санях по зимней дороге и столкнулся с юным Ёукахайненом.

Зацепились оглобли,
И гужи переплелись,
Хомуты вдруг затрещали,
И дуга с дугой столкнулись.

Самое поразительное в этой бытовой сценке — поведение героев:

Тут они остановились,
Стали оба, размышляя.

Не надо обладать пылким воображением, чтобы представить себе недоумение, огорчение, раздражение двух мужиков, которые, размышляя, как же им быть, почесывая в затылке, стояли у своих саней.

Но перед нами — не байка, не бывальщина, а героический эпос. И здесь же, без перехода, безвестный сказитель поражает слушателей эпической мощью героев: их сани столкнулись с такой силой, что

Из двух дуг сочилась влага,
От оглобель пар поднялся.

Разгневанный Вяйнямейнен в ответ на хвастливые и неразумные речи Ёукахайнена начинает одну из своих героических песен — заклинаний. При звуках песни всколыхнулись тихие озера, задрожали медные горы, треснули твердые камни, рассыпались в прах утесы. Подлинное воодушевление охватывает рунопевца, — полет его фантазии неудержим, но чтобы фантазия не превратилась в беспомощную выдумку, он вновь возвращается к злополучным саням лапландца. От заклинаний у обидчика Ёукахайнена на дуге разрослись ветки, хомут пророс ивой,

позолоченные сани стали прибрежным тальником, а конь превратился в скалу у водопада. Сам же Еукахайнен по плечи погрузился в трясину и только после этого стал просить Вяйнямейнена, чтобы тот снял чудесное заклятье.

В северных дебрях, где гора горе руку подает, где перекликается озеро с озером, народная фантазия поместила и светлую страну Калевалу, и страну мрака Похъелу, и таинственное царство мертвых Туони, Туонелу, в черных водах которой люди находят вечное небытие. Борьба мрака со светом, зла с добром олицетворяется в «Калевале» в образах злой старухи Лоухи, царствующей в Похъеле, и героев страны Калева — старого песнопевца Вяйнямейнена, знаменитого кузнеца Ильмаринена, удалого бойца Лемминкайнена. Эта борьба ведется за мельницу-самомолку Сампо — символ народного благосостояния, счастья — и является идейной и сюжетной сердцевиной эпоса. Вокруг этой сердцевины концентрируются все события и все герои «Калевалы».

Отягощенный многочисленными повторами, отступлениями, разъяснениями, что характерно для устно-поэтической традиции вообще, эпос вместе с тем преисполнен динамики и действия. О. Куусенен нашел точное определение этого диалектического динамизма в сказании о героях Калевалы.

«В «Калевале», — писал он, — почти каждая мысль преподносится нам ступень за ступенью, последовательно появляясь в поле нашего зрения как бы в виде четырех, пяти, шести разноцветных волн (выделено мною. — В. Д.)». Вот эта сказочно-фантастическая, радужная, разноцветная стихия эпоса должна, непременно должна учитываться художником, который обращается в своем творчестве к «Калевале».

СЕРЕБРИСТАЯ РЫБКА — АЙНО

У Маяковского есть одно любопытное признание. Поездки по стране, замечал поэт, встречи с людьми заменяют ему чтение книг. В поисках своего Сампо, своей творческой удачи я не раз испытывал нечто подобное. Так, в Петрозаводске художник и искусствовед Василий Михайлович Агапов, человек подвижнической биографии, много часов подряд рассказывал мне о знаменитых заонежских вышивках «тамбуром по филе», о пудожских и вец-

ских рукодельницах, об инкрустациях по карельской бере-
зе, выполненных старыми мастерами А. С. Гайдиным из
Падмозера и С. И. Синявиным из деревни Дорохово.
Ни одна книга по народным ремеслам, вероятно, не дала бы
мне столько, сколько дал рассказ старого художника и зна-
тока карельского прикладного искусства.

— Почему так прекрасны заонежские вышивки «там-
буром по филе»? — спрашивал он меня и тут же отвечал: —
Да потому, что домотканое льняное полотно похоже
по колориту на тусклое сияние северных снегов и «досюль-
ный шов», как говорят мастерицы-вышивальщицы, дела-
ет необычайно выпуклым, рельефным весь рисунок. Так
выпукла лыжня на снеговом насте, когда снег уже подтаял
и вновь прихвачен мартовскими заморозками.

Позднее, разглядывая заонежские вышивки в Кижском
музее-заповеднике, в том числе и изумительные художест-
венные панно по мотивам «Калевалы», которые были
изготовлены по эскизам В. А. Агапова, я удивлялся мет-
кости этого образа. Действительно, выпуклый шов напо-
минал охотничью стежку на тускловатых мартовских сне-
гах Заонежья.

Художественное панно в Кижях еще раз показало мне,
что поэтический мир «Калевалы» безбрежен и безграничен.
Этот мир дает возможность художникам самых разнообра-
зных направлений и дарований испробовать свои силы,
внести посильную лепту в пропаганду великого эпоса.
В Карелии проводились и проводятся конкурсы на лучшее
графическое оформление «Калевалы». Но сейчас мне бы
хотелось рассказать об одном «внеконкурсном» вторжении
в сказочную страну старого песнопевца Вяйнямейнена.

На второй выставке «Советская Россия» среди тысячи
трехсот работ, помнится мне, немало зрителей толпились
у листов, подписанных мало кому известной фамилией:
Т. Юфа. Эти листы выделялись резким своеобразием по-
черка художника, особой напряженностью и вместе с тем
ажурностью рисунка, мягкими пастельными тонами — го-
лубоватыми, блекло-зелеными, розоватыми, серебристо-се-
рыми. Зрители невольно замедляли шаг и останавливались
у этих листов, иллюстрирующих карельские руны. Но са-
мое главное, пожалуй, было не в технике исполнения,
а в том отчетливом ощущении сказочности, фантастично-
сти мира героев Калевалы, от которого мы поотвыкли
в других строго реалистических рисунках. Имя Т. Юфа
запомнилось, и когда я приехал в Петрозаводск, то первым
делом постарался разыскать иллюстратора к «Калевале».

У меня не было сомнения, что этот художник-график родился на севере, что его работы — сплав детских впечатлений и зрелых раздумий над эпосом. Я оказался прав и неправ. Тамара Юфа родилась и выросла в средней полосе России, в нынешней Липецкой области. В Карелию она попала по распределению как молодой специалист — выпускник Ленинградского художественного училища. Из трех названий — Кемь, Беломорск, Ладва — Тамаре понравилось по созвучию название Ладва, и она поехала в далекое поморское село учить деревенских ребятишек рисованию. Такова фактическая сторона дела. Но прав я оказался в другом, в том, что мир народной сказочности был всегда близок Тамаре Юфе, что она вначале инстинктивно, а затем осознанно тянулась к этому прекрасному миру, удивительному в своей духовной озаренности.

...Деревня с жутковатым названием Волчья. Голодное, тяжелое время: война. Тамара живет у бабушки. Вечерами, когда за плотно занавешенными окнами раздавался пошвист метели да редкие винтовочные выстрелы, бабушка начинала рассказывать сказки. От этих сказок замирало сердце. А по утрам хотелось как-то рассказать об этих сказках самой. Первые рисунки где попало — углем на печке, на случайном клочке бумаги, на фанерном листе. Затем Задонск. Школа. Первый экзамен в Елецком художественном училище — и двойка по живописи: в деревне некому было подсказать, что краски можно смешивать. Но в училище все-таки удалось поступить, а после того как оно было расформировано, заканчивать учебу довелось уже в Ленинграде. Ну, а потом Ладва. Снова длинные метельные вечера — и увлечение «Калевалой». Многие рунны здесь, в Ладве, зазвучали неотступно, запоминались наизусть, перечитывались десятки раз. Высоченные деревянные дома, синеющая кромка лесов, глухая снежная пустыня — все это сближало с карельским эпосом, с народными сказками и песнями Беломорья. На праздниках хозяйки иногда доставали из сундуков старинные наряды, и Тамара с любопытством разглядывала, запоминала затейливые узоры вышивок и кружев, покрой и цвет нарядов. Так, казалось бы, далекий мир героев Калевалы обретал художественную плоть, становился второй жизнью художницы.

И вот на выставке молодых художников Карелии я снова встречаюсь с листами Тамары Юфы. Ее «Айно» —

одна из самых чистых, самых поэтических созданий «Калевалы» — удалась ей не меньше, чем образ Ярославны из «Слова о полку Игореве». Айно на листе художницы вся была соткана из легких замысловатых, текучих линий, и только ее лицо, ее губы, ее печальные глаза были удивительно знакомы, говорили мне о том, что такая девушка есть, должна существовать на свете. А ведь в этом-то и заключается главная идея образа сестрицы Еукахайнена, ставшей таинственной серебристой рыбкой и скрывшейся в волнах от старого Вяйнямейнена, ее неудачного жениха: она скрылась в озерной глубине, но навсегда осталась в памяти народной, а значит, навсегда осталась и в наших сердцах.

«ВСЕ ЗЕМНОЕ В АВГУСТЕ ДОРОЖЕ»

Расхожие суждения порой кажутся верными и непогрешимыми до тех пор, пока с ними не столкнулся истинный поэт. Если такое столкновение произошло, то эта непогрешимость рассыпается, как песчаная горка от прибойной волны: истинный поэт приходит в этот мир, чтобы не соглашаться с обветшалыми мнениями. Пронимаясь сквозь них, он хочет собственными руками ощупать мир, возникающий на его глазах, выявить новую меру вещей и явлений. «Каменное сердце» — выражение привычное в нашем повседневном обиходе. Многие оттенки неприязни — от отчуждения до обиды и горечи — вкладывают в него. Но Тайсто Сумманен, поэт, выросший в стране озер и каменных россыпей, знал другое: он знал, как греют камни на закате, как теплы бывают их крутые бока. Он знал, наконец, что «твердость, но не холод в них живет»:

Ведь ночами камень отдает
Нам обратно теплые лучи —
Те,
что он от солнца получил.

Камень отдает свое тепло,
Трескаясь, морщинится чело.

Так в неожиданном и — с точки зрения поэта — наиболее истинном свете предстает перед нами старая житейская быль о каменном сердце. Не только слово «каменный», но и само понятие «камень» в памяти поэта вызывает совершенно иные ассоциации, чем у множества других людей. Поэт приходит к выводу, что только то, что проверено личным жизненным опытом, может быть для него правдивым.

Это стремление к художественной правдивости, доподлинности я заметил во всей книге «Лирика» Тайсто Сумманена, своеобразном «избранном» за десятилетие его работы.

Стихотворение «Осень Севера» начинается с воспоминаний о детстве. Северной осенью

Босиком бежишь ты в лес рассветный —
Жжет земля подмерзшая подошвы.

Но на холодном рассвете лучше, отраднее всего вбежать на прогретую солнцем скалу — «ласкова она — ты знаешь это».

Камень жесток, груб, но нет добрей:
Греет он, как матери ладони.

Поэтизируя родную природу, рассеивая миф об ее угрюмости, неласковости, суровости, Сумманен главную творческую задачу видит в большем: в умении разглядеть под хмурым обликом человеческую теплоту и щедрость.

Сокровенное общение с природой помогает Сумманену в этом. В раннем стихотворении «Первый снег» поэту и его возлюбленной на какой-то миг показалось, что нет больше любви, что их разлука неизбежна. Однако временное помрачение ума и сердца проходит, когда они встречаются с подлинным чудом — чудом первого снега.

Падал снег, ложась у наших ног,
Застилая белым черный берег.

Кому не знакома эта картина: после тоскливых сумерек осени первый снег кажется особенно праздничным и светлым на темном берегу. Такую праздничную неожиданную радость принес этот первый снег и влюбленным. Просветление в природе вызвало в них самих душевную просветленность, прежнюю близость, веру в счастье.

«Лирика» Сумманена богата контрастами, переходами одного настроения в другое. Почти неизменно поэт черпает тему в карельском пейзаже, хотя у него есть и публицистика, и пафос гражданственности во многих стихах. Но к лучшим страницам сборника я все-таки отношу те страницы, на которых Сумманен пишет родную природу и в неразрывном единстве с нею отображает свой личный мир. Ведь именно им были сказаны прочувствованные, продуманные слова:

Песня птиц задумчивей и строже,
Грусть и радость породнились в ней.
Все земное в августе дороже,
Многое яснее и видней.

Возраст Тайсто Сумманена далек от августовского, но в творчество он вступил в пору своего возмужания, когда действительно все земное становится не только дороже, но во многом яснее и видней.

«МГНОВЕНЬЕ» РОБЕРТА ВИНОНЕНА

Мне нравится резкость, стремительность поэтического почерка Роберта Винонена, который недавно выступил с первой книгой стихов «Мгновение». Эта стремительность, порывистость как-то не вяжется с традиционным представлением о медлительных, «небритых и зеленоглазых финнах» (Блок), но за время моей поездки по Карелии я убеждался не раз, что наши традиционные представления о любой стране, в которой мы не бывали раньше, страдают приблизительностью, неточностью. Роберт Винонен — финн по национальности — пишет на русском языке. Впрочем, в заглавном стихотворении им сказано об этом гораздо яснее и экспрессивнее, чем в моих заметках. Думая о родине далеких предков, молодой поэт пишет:

Да, сосны финские на камне
березам русским не родня,
Но вот —
 в груди сплелись ветвями,
а разорви — и нет меня.

Винонен — один из «разноплеменных детей России», чья жизнь навеки связана с Россией «надежным русским языком». Ныне молодой поэт живет в Москве. Однако его первый сборник полон отсветов и отзвуков Карелии, и мне было необычайно интересно перечитать его стихи по возвращении в столицу. Вот Винонен бросает две строчки: «...как берег каменный тяжел, да легок берег отраженный» — и эти строчки западают в память. В другом месте, не в силах сдержать восторга перед раздольем пойменных лугов, Винонен восклицает:

...Глянешь назад — до чего же хорош
Уложенный в полосы скошенный дождь!

Если бы подобные, как мы говорим, поэтические находки изредка сверкали в невыразительном, сером потоке стиха, то в своей «самоценности» они бы мало чего стоили! Но в том-то и дело, что эти находки — завязи на древе образной мысли, которое развивается на наших глазах, мужает в бореньях с неподатливым, избитым словом, приобретает поэтическую многозначность.

Многозначность Вионена происходит из желания охватить современный мир в его сложнейших взаимосвязях, в его диалектическом единстве. Интересно в этом смысле стихотворение «Витают множество идей». Поэт считает, и справедливо считает, что никакой китайской стеной невозможно мир отгородить от него, как и ему, поэту, отгородиться от мира. Множество идей витает в напряженной атмосфере двадцатого века, и многими из них бывал увлечен автор сборника «Мгновенье». Но, говорит Вионен,

...в самый трудный миг
я стану коммунистом,
чтобы не дать свой мир,
свой дом спалить дотла...

Так в решающий момент поэт избирает язык оратора и трибуна, чтобы веско, значительно сказать о самом главном для себя и своих современников.

Название сборника Роберт Вионен взял из двустипшия поэта прошлого века Баратынского: «Мгновенье мне принадлежит, как я принадлежу мгновенью». В этой краткой поэтической формуле таится сокровенный смысл: поэт в такой же степени принадлежит мгновенью, времени, веку, как время, состоящее из череды мгновений, принадлежит ему. И не только принадлежит, но и подотчетно, подвластно поэту. Может быть, поэтому в его книге такое значительное место занимают раздумья о сущности и характере поэзии, о вдохновенье, о призвании художника.

К лучшим стихотворениям сборника я отнес бы стихотворение «Творчество». Оно написано в минуты такого душевного подъема, такого порыва, который исстари зовется вдохновеньем:

В этом дивно очерченном мире,
где рука, словно ветер, легка,
горизонты всего достижимей
и надежней всего — облака.
Это — жизни безмерное чудо.
Я на гребень его вознесен,
чтобы кануть безвестной секундой
в подсиненную бездну времен.

Строфа возникла не только из абстрактных умозаключений поэта, но и его живых наблюдений: озерными, лесными просторами Карелии веет от этой строфы.

...Далеким кружным путем — через пороги Нагеуса, через озеро Нюк, через поселки лесорубов — я возвращался к линии железной дороги. Но еще долго, после того как я вернулся в Москву, вытряхивал я из карманов пиджака рыжие хвоинки, разглядывал их на ладони и улыбался и вспоминал густой смолистый дух сосновых рощ, прогретых солнцем, и голубизну водной дали.

Одна женщина сидела на передней скамейке, другая на корме помогала ей маленькими веслицами, отгребаясь по карельскому обычаю от себя. Лодка шла споро, и ни встречная волна, ни клубящиеся на горизонте тяжелые дождевые тучи не могли остановить ее легкого движения. До свидания, северная моя сестра Карелия! До новых достопамятных встреч!



Любого впервые приезжающего в этот город поражает его Тоомпеа, или Вышгород, — сами таллинцы любят называть городскую крепость этим старорусским словом. Тоомпеа не только средневековые улочки, где едва разойдутся два пешехода, флюгера на башнях, голуби на ратушной площади и узкие окнабойницы в крепостных стенах.

Это не только каменная летопись, которую привычно читают экскурсоводы и заученно повторяют туристы. Это деловая часть города. У подножья Вышгорода, как соты в ульях, лепятся друг к другу магазины, кафе, государственные учреждения, кинотеатры, мастерские, аптеки. До поздней ночи течет людской поток. Прошлое с настоящим сливается здесь воедино, и современность не то что подавляет, но как-то отодвигает на задний план исторические воспоминания.

Старая часть Таллина живет своей особенной, напряженной жизнью. Поэтому не удивительно, что поначалу я не разглядел за башнями, домами и каменными маршами чего-то главного, существенного для облика города в целом. Надоумил меня Уно Лахт. Мы с ним давнишние приятели, еще по второму Всесоюзному совещанию молодых писателей, а посему и обращались друг к другу запросто.

— Ты не видел в Таллине одну работу Яана Коорта? — спросил он меня. — Ну, тогда ты не видел нашего искусства.

Я немного проплутал по узким незнакомым мне переулкам, но все-таки вышел к крутому плитняковскому откосу, уходящему ввысь крепостными стенами. И вот здесь-то...

На крохотном пятачке в пестром многолюдье стояла косуля. Казалось, забежала она сюда случайно и вот чутко прислушивается к грохоту большого города. Было такое чувство, будто легкие копытца ее вросли в землю и лишь зябкая дрожь пробегает по глянцевым бокам. Один миг — и она скроется за каменной грядой, вырвется вновь на

зеленые лесные просторы. Я нередко приходил сюда потом, чтобы полюбоваться мастерством и талантливостью скульптора, подарившего родному городу одно из лучших своих изваяний.

Яан Коорт создал «Косулю» в 1926 году. Благобно-застойному миру буржуазного города скульптор стремился противопоставить вечную идею юности и красоты. В дальнейшем вольнолюбивые мечты Коорта получили другое образное выражение. Его резцу принадлежат портреты эстонских рыбаков, рыбачек, крестьян. В их стихийной земной силе, суровости и грубоватой тяжеловесности чувствуется вера художника в нравственную стойкость, прямоту родного народа. Когда позднее мне довелось познакомиться не только с эстонской графикой и скульптурой, но и поэзией двадцатых годов, я не мог не отметить про себя очевидной близости творчества Яана Коорта и целого ряда поэтов-лириков, певцов эстонской природы.

Перед отъездом в Таллин я постарался найти сборники стихов на русском языке, вышедшие в последние годы. В книжных магазинах их оказалось немного.

Глаза привычно скользили по рифмованным строчкам, изредка останавливались на более или менее удачном образе, локальной детали. Поэтическая дорога была накатанной, гладкой, такой, какой она описывается в стихотворении Ральфа Парве:

Под пушистою тяжестью снега
Гнутя ветви в сосновых лесах.
Разогревшись от быстрого бега,
Мчитя белой дорогой рысак...
И звенит колокольчик поддужный.
Щеки ярко румянит мороз.
Как живет и работает дружно,
Так на выборы едет колхоз.

Встречались в этих стихах и мои старые знакомые: сельский кузнец, который весной «кует что-то железное», старый рабочий, который «дышит юностью чудесной» и трудится, «как солдат в решительном бою», тракторист, выезжающий с песнями в поля. Многие стихи датировались началом пятидесятых годов, когда декларативность, легковесная описательность обедняли облик талантливых, своеобразных поэтов, делали их голоса удивительно похожими друг на друга.

Но вот я в Таллине. Куда бы я ни приходил, на низеньком столике неизменно появляется кофейник и кофейный

прибор. «Ковики» (наши кафе) — такая же достопримечательность в Таллине, как, например, шашлычные в Баку.

Рассказывают, что в старину кофе облагался непомерным налогом, но его ухитрялись провозить контрабандой. Вот почему на городских башнях стояли специальные дозорные: они следили за тем, чтобы таллинцы не варили эти заморские зерна, а заметив, шли к хозяину дома и штрафовали неосторожного кофевара. С тех пор прошло много-много лет. Кофе вошел в быт эстонцев. Их можно понять, за кофе беседа идет непринужденнее, живее, в ней меньше натянутости и скуки.

В размышлениях моих эстонских друзей я нередко улавливал скрытую полемику с недавним собственным творческим опытом, улавливал неприязнь к той стихии повседневного, бытового правдоподобия, которое захватывало их, мешало им быть вполне самими собою.

Но беседы наши шли в основном о новых замыслах и новых веяниях в поэзии. Мы говорили о том, что бурный приток молодых имен в литературу, развитие лирических жанров, отказ от длинных изложений в рифму, именуемых то романом, то повестью в стихах, характерен для всей нашей многонациональной литературы. В подобных изложениях поэт становится бытописателем, а не тем «дельным», по выражению Белинского, художником, который терпеливо выискивает в современности заветное «серебряное звено» и сковывает им самые сложные явления жизни.

Яан Кросс, известный у нас книгой «Зарубки на скалах», рассказал мне о своей новой поэме «Кампапелла». В поэме Кросс использовал отрывки из «Города солнца», и эти отрывки в переводе на эстонский язык звучали как напряженный свободный стих. Роль же основной нитеобразующей мелодии играют биографические вставки и пейзажные зарисовки; они не дают рассыпаться поэме, как рассыпается плохо промешанный хлеб. В новой работе Яан Кросс руководствовался не формальными изысками, а твердым убеждением, что в наше время передача чувств, мыслей, эмоций должна соответствовать этой усложненности и этой непростоте.

— Простота и сложность, — говорил Кросс, — понятия условные в поэзии. Но одно дело писать на традиционном материале, другое — на новом. Возьмем в качестве примера Бертольда Брехта. Новаторский характер его поэзии очевиден. Активизировать мысль читателя, во что бы то ни

стало встряхнуть его, заставить мыслить и видеть мир по-новому — вот задача номер один, которую ставил перед собой Брехт. Поэтому он добивался предельной лапидарности стиля, он стремился спрессовать идеи так, как молотобоец прессует раскаленную поковку.

Однотомник Брехта оказался под рукою, и Яан Кросс бегло перевел с немецкого на русский его стихи «Чтение газеты у плиты». Позднее я нашел эти стихи в переводе Е. Эткинда.

По утрам я читаю газеты об
эпохальных планах
Пап и королей, банкиров и нефтяных
магнатов,
Другим глазом я слежу
За водою для чая:
Как она мутится, закипает и снова
просняется
И, переливаясь через край, гасит огонь.

В этом стихотворении есть только отправные пункты для активной, углубленной мысли читателя. Брехт считает излишним дробить ведущий образ на мелкие составные части, он надеется на профессиональную и интеллектуальную подготовку других, на их не то что догадливость, а на их умение домыслить, проследить до конца заложенный здесь сокровенный смысл. И если читатель действительно мыслящий, то ему в конце концов откроется главное в этом стихотворении — историческая обреченность «эпохальных планов», пропагандируемых буржуазными газетами, суетность заправил капиталистического мира.

Иначе говоря, далекие ассоциативные связи в стихотворении Брехта — не анархический произвол, а сознательная позиция поэта-марксиста, обнажающего социальное, классовое содержание жизни. Молодые поэты часто впадают в ошибку, полагая, что достаточно им использовать брехтовский прием «несравнимых сравнений», и они уже осовременят свои стихи. Но ни Брехту, ни Бехеру, ни Элюару, ни Уитмену подражать нельзя. За плечами у каждого из них своя борьба за художественное овладение миром, приверженность своим эстетическим и идейным принципам. Уместно здесь привести следующее высказывание выдающегося немецкого поэта и драматурга. «Тому, кто пишет в наше время, — говорил Брехт, — время, полное великих перемен, необходимо знание материалистической диалектики, знание экономики и истории... Люди, описывающие лишь мелкие факты, не могут никого научить, как

познавать и как использовать то, что происходит в жизни земной. А в этом единственная цель правды — другой цели у нее нет».

Разговор о Брехте, о его поэтическом кредо возник у нас не случайно. Насколько я мог понять эстонских поэтов и прозаиков, с которыми мне довелось встретиться, их волнует вопрос о многообразии форм отображения жизни.

Лаконизм поэтического мышления, афористическая четкость стиха — только одна из этих форм. Стихотворение без рифмы и ритмической закономерности, опирающейся лишь на особенности устной речи и на звукопись образом, тоже принадлежит к одной из таких поэтических форм. Верлибры сейчас необычайно популярны как среди русских поэтов, так и среди эстонских литераторов. Назову хотя бы Д. Вааранди, Э. Нийт, Я. Кросса, У. Лахта, Р. Парве, из молодых — Эрика Пауля Руммо. Но при всей популярности верлибров вряд ли им должны предоставляться те самые «монопольные права», о которых писал Брехт.

Дело в том, что, по моему убеждению, свободный стих — это одна из переходных форм переходного периода.

«Стих, почти не похожий на стих», как метко заметил Николай Заболоцкий, не может один-единственный выразить нашего сложного мировосприятия и мирочувствования.

У Яана Кросса есть превосходная по лаконизму и четкости миниатюра, которую я приведу здесь целиком.

Ты начинаешь различать добро и зло
И видеть красоту и безобразье
В обыденных предметах.
Это значит,
что наступила зрелость.

(Перевод Д. Самойлова)

Здесь поэт обобщает свои жизненные размышления, подводит какой-то важный итог, но одновременно он дает первоначальный толчок и нашим личным раздумьям. Он обращается прежде всего к сознанию читателей.

При меньшей, неизмеримо меньшей талантливости поэта это обращение к интеллекту других может превратиться в назидательность. Стихотворение станет прописью, оно зачерствеет, потеряет эмоциональную наполненность, богатство чувственных оттенков. Думаю, что не ошибусь, если скажу, что даже такой многогранный художественный талант, каким был Бертольд Брехт, испытывал известное

эмоциональное голодание. Но перевес рационального над чувственным был опять-таки оправдан в творчестве Брехта конкретными историческими условиями, в которых Брехт вел свою борьбу за новое искусство, искусство социалистического реализма. Ему выпала роль быть «социалистическим просветителем» — по довольно точному определению И. Фрадкина, который, кстати сказать, и отмечает у Брехта его корневые связи с рационалистической эстетической эпохи Просвещения.

Но когда я встречаю все новые и новые стихи, авторы которых сознательно отказались от дисциплины формы, я с тревогой думаю о причинах и следствиях этого повального увлечения: а не приведет ли оно к обеднению нашей поэзии? Ритмическая монотонность так же плоха, как и монотонность аритмии, из двух зол оба худшие, хотя именно из полемики с гладкописью прошлых лет и родилось стремление поэтов раскрепостить стих, придать ему большую синтаксическую и образную выразительность. Впрочем, мои опасения, возможно, напрасны, жажда обновления — неутолимая жажда, ее всегда будут испытывать истинные поэты.

В сборнике «Земля полна открытий» Эллен Нийт тоже немало «стихов, почти не похожих на стихи». Поспешу уточнить эти строки Заболоцкого: поэт, конечно же, имел в виду обкатанные стихотворения, когда противопоставлял им новую манеру поэтического мышления. Его дальнейшее замечание о «скомканной речи», в которой «изошренность известная есть», помогает понять отдельные страницы книги Э. Нийт.

Эстонская поэтесса использует свободный стих не для того, чтобы фиксировать жизнь в обнаженных, хотя и далековатых сравнениях, а, наоборот, чтобы выразить всю трепетность, всю сиюминутность своего чувства. Здесь ее поиски прямо противоположны поискам Яана Красса, которому ближе сатирические и философские традиции Брехта, хотя, конечно, ни о каком подражании и речи быть не может. Я. Красс — известный далеко за пределами республики поэт, и если он много говорил о Брехте, то здесь сказывалось родство душ.

В иных стихотворениях Нийт краски размыты, как размыты они на мокром акварельном листе, в иных рисунок выполнен сухой иглой, приемом гравера. «Голый лес — очаг, покрытый копотью. Ветки обуглились. И белым пеплом зима посыпает следы» — вот пример черно-белой передачи ощущений.

Книга Э. Нийт на меня лично произвела впечатление написанной на едином дыхании: здесь свою роль играет ритмика ее образов, устойчивые черты характера, получающие выражение в лирике: вдумчивость, скромность, всепоглощающая нежность. Этой вселенской нежностью озарена, например, «Колыбельная» — одно из лучших стихотворений сборника.

Поэма «Начало песни» выявляет не только сильные стороны таланта Э. Нийт — свежесть чувств, благородную сдержанность стиля, стремление к общественному служению словом, но и ту «скомканность» речи, о которой я говорил выше. Когда читаешь поэму, то не покидает ощущение, что важны и захватывающе интересны для поэтессы не столько жизненные реалии, сколько их отзвуки, их отражения. Эти отражения часто зыбки и смутны, они возникают в тайниках поэтического «я» как символы ремесла, как устойчивые литературные параллели. На поисках этих символов и сосредоточивает Э. Нийт свои душевные силы. Она пристально прослеживает зарождение метафоры, закрепляет в слове любой порыв, любой призыв к стихотворчеству: «Я взяла перо со стола — и трепет прошел по руке. И я позвала, какие хотела, слова...» «Мне мерещились облики будущих слов, их глаза, сощуренные от солнца...»

Вольно или невольно, но эта «цеховая» локальность образной системы, эти самоповторения придают поэме лабораторный характер. А ведь сама поэтесса жаждет приобщиться к исконным началам бытия, и в стихах о деревенском детстве у нее есть это приобщение, она жаждет услышать ответ на вопрос, зачем ее песня, кому она нужна! Э. Нийт хочет «почувствовать на щеке живое дыхание родного города», быть необходимой людям, едущим с нею в трамвае, идущим по таллинским улицам. И это залог плодотворности ее порывов, ее попыток проникнуть в психологию творчества, в тайное тайных поэтического ремесла. Следует только помнить Э. Нийт, что земля, именно з е м л я полна открытий!

Чтобы как-то, хотя бы эскизно представить себе, чем живет сегодня эстонская поэзия, мне пришлось обратиться к подстрочным переводам. Иначе мои впечатления были бы устаревшими на корню, они были бы трех-четырёхлетней давности, что в наш стремительный век — срок немалый...

С Ральфом Парве и его женой писательницей Лилли Промет я провел вечер на даче в Ныме, пригороде Таллина. Этот художавый, подчеркнуто корректный человек не

сразу разговорился, не сразу пошел на сближение. Но, переходя от одной темы к другой, цитируя по памяти Блока, показывая великолепные эстампы Вийральда, он, вероятно, увидел во мне внимательного друга, собеседника. И только тогда Парве согласился по-эстонски прочесть новые стихи, сделать их приблизительный перевод. Смею заверить, что разница между этим переводом и вышедшим на русском языке хотя бы таким сборником Р. Парве, как «Дальние дороги» (1957), была удивительная. Об уровне поэтических переводов можно судить по цитате, которую я привел раньше в письме. А направление, что ж, оно верно передавало этапы большого пути эстонского поэта: бой под Великими Луками в составе эстонского корпуса, тоска по родине, временно оккупированной фашистами, радость возвращения в Таллин, сатирические стихи о загранице. И все-таки эта книга не несла на себе печать личности Парве. Как это ни странно, но только подстрочники позволили мне понять особенности его лирического дара. Поэтический диапазон Парве широк: от вечных тем любви, поэзии, природы до прямой публицистики в «Освенциме» и «Поминках».

«Поминки» в буквальном смысле слова сотканы из обрывков ресторанных разговоров, возгласов и умолчаний. Но какую отчетливую, какую беспощадно правдивую картину краха буржуазной демократии воссоздают они! Страх, отчаяние, злоба, затаенная ненависть «бывших людей» прорывается в каждой реплике, в каждой невинной просьбе.

Стихи Р. Парве напомнили мне «Нэпмана Звавича» В. Луговского, написавшего это стихотворение в пору позднего и, к сожалению, недолгого расцвета. Гражданственность Ральфа Парве проявляется прежде всего в ясном понимании поэтом истории родной страны, ее прошлого и настоящего, в безоговорочном признании права народа выбирать свою судьбу. Его партийная убежденность и заставляет искать наиболее емкие, четкие формы и средства поэтического выражения. Ральф Парве не только поэт, но и активно работающий литературный критик. Наша беседа с ним была полна экскурсов в прошлое эстонской поэзии. Некоторыми наблюдениями над этим прошлым хочется поделиться с читателями и мне.

Живая душа поэзии — современность, но традиции — ее корневая система. В силу определенных общественных

сдвигов какие-то плети этой системы могут обрываться, отпадать, но вечно зеленеет древо литературы, и не только предшественники влияют на его рост и развитие, но и современники ищут себе опору в традициях, восстанавливают оборвавшиеся было связи с прошлым. Следует заметить, что в каждой национальной литературе эта корневая система обладает своими разветвлениями. Если взять эстонских поэтов старшего поколения И. Семпера, И. Барбаруса, А. Алле, Ф. Тугласа, Я. Кярнера, то при всей непохожести творческих индивидуальностей у них было общее — их демократическое происхождение, их передовые, прогрессивные взгляды на литературу и жизнь в целом. Эти художники левого направления объединились в 1921 году в кружок «Тарапита» (боевой клич древних эстов), который оказал заметное влияние на развитие всей эстонской поэзии предвоенных лет. Вместе с тем следует отметить, что в интонациях, например, Йоханнеса Семпера, в его сборнике «Ритмы» (1922) явственно сказывалось влияние немецкого экспрессионизма. Семперу был близок анархический, стихийный бунт, который подымали поэты-экспрессионисты против буржуазной ограниченности, мещанского благополучия деловых людей. В «Оде Вселенной» Семпер бросает вызов пошлому существованию лавочников и торговцев, он яростно требует: «Все на колени пред человеком-зарейо!» Этим абстрактным гуманизмом, этой яркой ненавистью к толне, поглощенной жаждой наживы и развлечений, к капиталистическому городу-спруту пронизана его баллада «Самоубийство паровоза». Эстетика безобразного — краеугольный камень творческой программы экспрессионистов — обнаруживается в изощренности отдельных метафор И. Семпера. У него, например, море — горбатый зверь, который ухом чуть шевелит, у него «солнце унылой гусеницей запеленалось в куколки засух» и «громада туч закрывает бельмо солнечного глаза».

Но не эти излишества стиля хотелось бы мне подчеркнуть в ранней лирике Семпера, а сквозную идею его книг: в расслабляющей духоте, в застойной атмосфере двадцатых годов поэту дышится трудно, так трудно, что голос его нередко срывается на крик.

Кровь барабаном стучит у висков:
Воздуха — для дыханья!

Провинциальная рутина вызывает в поэте чувство яростного сопротивления, он стремится вырваться из ее плена. «В немую лень, гнетущую меня, швырну я факел жар-

кого огня!» — пишет И. Семпер в сборнике «Солнце в канаве» (1930). Душевное обновление поэту приносит только близость моря. Подолгу он следит за набегающими валами, и другая стихия возникает перед его мысленным взором. Ему кажется, что уже не волны вырвались на бескрайний простор, когда «все выходы и входы отперты», когда «все с петель сорваны ворота», что это

Растет поток рабочего народа.
Их лица в саже, стиснуты их рты,
охрипшие зывают голоса.
Подъяты красных флагов паруса.

(Пер. П. Антокольского)

В парке Кадриорг я побывал на выставке картин профессора И. Гренберга. Мне не доводилось раньше знать этого художника, да и сами таллинцы впервые имели возможность познакомиться так полно и обстоятельно с произведениями выдающегося живописца.

Около одной картины стояла женщина с миловидным выразительным лицом. Она была полна той задумчивости, той внутренней сосредоточенности, которая отличает знатоков и ценителей искусства, которая всегда так захватывающе воздействует на других.

«После работы» (1939) — прочитал я название картины, остановился возле нее и не сразу, нет, далеко не сразу проникся ее ритмом, ее трудной цветовой гаммой. Сквозь желтизну заката, сквозь смутные грязновато-коричневые стены домов проступали, еще не отделившись от этого фона, фигуры множества людей. В их пестроте было суровое единообразие, в их слитности — неодолимая сила. Их было трудно отличить друг от друга, но, как морской вал, они накатывались на зрителя все сразу, затопляли весь передний план, ширились, росли.

Да, я понял, превосходно понял женщину, что не могла оторваться от этой картины. И с тех пор ее образ перед полотном Гренберга олицетворяет для меня то глубокое воздействие искусства, которое, по счастливому выражению Глеба Успенского, знакомит человека «с ощущением счастья быть человеком».

В довоенной лирике Семпера, как и других эстонских поэтов, настойчиво пробивается тема предгрозя. «В ожидании», «Осенняя импровизация», «Зной», «Очищение», «Буря» — эти стихи рождены долгой надеждой поэта, что настанет час очистительных перемен, что «поток рабочего народа» сметет все преграды и всю накипь с животворных

источников народного бытия. Этот час настал в июле 1940 года, когда не только Таллин, но и все города и села Эстонии бурлили праздничными манифестациями, когда прибалтийские народы встречали братьев с Востока — бойцов и командиров Красной Армии, армии-освободительницы.

Яан Кярнер — добровольный затворник из Эльве, где он прожил пятнадцать лет (до 1936 года), напрасно думал найти тихую радость в общении с природой, с жителями окружающих хуторов. Эпоха, чреватая кризисами, социальными контрастами и войнами, вторгалась в его далекую провинцию. Да и само затворничество Кярнера было вынужденно: это был его протест против чужого «странного мира» (И. Семпера), который он не хотел, да и не мог принять.

В какие-то мгновения Яану Кярнеру казалось, что он постиг смысл бытия среди сосновых боров и чистых озер Тарту, что он нашел ответ на вопрос, что такое счастье.

Счастье? Быть может, оно в осознание
Этого чувства: я — емь, я живу!

Но минутный самообман рассеивался быстро. Нет, не подобную примитивнейшую формулу жизни искал поэт, не в простодушном приятии всего сущего он видел творческое удовлетворение. Как и Семпера, его воображение тревожит образ надвигающейся бури.

Грядущий день исполнен гневной желчи
И яростными грозами чреват.

Яан Кярнер не вступал в очевидное противоречие с самим собой, когда в одном стихотворении он говорил: «Я — родич природе и, видимо, создан, чтоб жить в первозданной, лесной простоте», а в другом — с символическим названием «Заштормило» восторженно и страстно восклицал:

Хлещи, хлещи, мой гневный стих, по
обветшалым формам.
Пускай исчезнет старый строй — давно
пора на слом!

Деревенское детство научило поэта любить и ценить красоту земли, различать голоса птиц, распознавать полевые цветы. Но, закладывая основы пейзажной живописи,

Кярнер оставался сыном трудового народа. Как и скульптор Яан Коорт, в своей лирике он социален: у него нет патриархальной благостности, идилличности, но в ней есть вдумчивый анализ классовых противоречий эстонской деревни («Старец из дремучего леса», «Воспоминание о родном доме»). В его лирике полно и глубоко раскрывается душа поэта, оскорбленного бесправием простых сельских тружеников. К ним обращается поэт в своих стихах:

Вставай, товарищ! Шествуй в свете
резком.
Еще от жизни ты свое возьмешь!

Конечно, Кярнер понимал, что сфера воздействия его поэзии ограничена условиями буржуазной диктатуры, что быть только печальником народных бедствий мало для поэта, мечтавшего о решительных переменах в родном краю. Но он стремился всеми силами души быть полезным простым людям. «У них и у меня — единый путь», — писал Кярнер, подчеркивая кровное единство с пародом.

Характерно отметить, что лирик по самой сути своей, Яан Кярнер приветствовал июль 1940 года пафосными, публицистическими стихами «Единство». Поэт, познавший и выразивший в стихах самую душу эстонской природы, был захвачен, потрясен новой мыслью:

Подумать лишь: на юге — виноград,
На севере — полярное сиянье,
На западе покровы тьмы лежат,
А на востоке — солнца полыханье, —
Вот он, неведомый нам до сих пор,
Могущественный родины простор.

Бескрайние просторы Советской Родины, неведомые раньше эстонцам, как точно и тонко подметил Кярнер, вселяют в него чувство восторженного удивления. Поэт гордится могуществом Советской страны, его новой Отчизны. Открывшиеся на востоке дальние дали, земли братских союзных республик, поездки на север и на юг, встречи с друзьями литераторами — вот темы, которые волнуют как поэтов старшего, так и послевоенного поколения. Дело здесь, мне думается, не только в бóльшей, чем раньше, «географии стихов» эстонских лириков, дело в том особом отношении к этой самой географии, которое и можно определить только словом — единство! Эстонские писатели и до воссоединения Эстонии с Советским Союзом бывали как в нашей стране, так и в странах Запада. Но вот И. Семпер

пишет стихотворение «Возвращение» (1936). Что же волнует его после возвращения к родным берегам, что он вынес из своей поездки? Сердце поэта замерло в тревоге и муке, когда он подвел итог заграничным впечатлениям. Горек и нерадостен этот итог. Там, в странах капиталистического Запада, «истина корчится, право распято... В саване, дух, ты идешь на покой!»

Двадцатилетием позднее Йоханнес Семпер написал лирическое «Письмо из Малеевки». В заключительных строчках этого письма старый поэт мечтает воссоздать в стихах картину нового мира, открывшуюся ему. «В ней будет лес, и шум его, и шорох,— пишет Семпер,— в ней будет хмель от снежного простора и духа человеческого взлет...» Но не только эти живописные приметы северной природы будут в поэтической симфонии Семпера, главное, что он хочет охватить, выразить в своем творчестве — это радость «чувства семьи единой».

В ней будет жизнь утверждена сполна,
В ней будет и народ наш, и страна,
Преображенная рукой рабочей...

Так само время помогло Семперу прийти «от горизонта одного до горизонта многих». Этот процесс захватил и Яана Кярнера, тонкого лирика и страстного борца, и других поэтов, которые вписали не одну сильную строку в золотую книгу эстонской поэзии.

Думая о путях развития эстонской поэзии, нельзя забывать и громадного опыта Великой Отечественной войны. Война в своем огненном горниле закалила сердца целого поколения эстонских литераторов, среди них следует назвать лауреата Ленинской премии Юхана Смуула, Д. Вараанди, Уно Лахта, Феликса Котта, Р. Парве, Ю. Сютиске, брошенного в фашистские застенки, но не сломленного ни голодом, ни пытками. Эти поэты полной грудью вдохнули раскаленный воздух военных лет. Та справедливая гроза, приближение которой смутно ощущали их старшие братья, стала их поэтической судьбой, их биографией. Они мужественно встретили эту грозу, не уклонились от ее громовых раскатов. Их не ослепили вспышки молний, не сломили, не опустошили ежедневные картины смерти и разрушений.

В «Ледовой книге» Юхан Смуул так сформулировал опыт этих писателей, бывших фронтовиков: «Надо сказать, что наше поколение многое повидало, многое пере-

жило за сравнительно немногие годы, больше, чем успе-
вает пережить в среднем каждый швед за всю свою спокой-
ную жизнь». А несколькими строчками выше Ю. Смуул от-
мечает, что за годы войны его сверстникам и однополча-
нам довелось увидеть человеческое «я» более обнаженным,
чем когда-либо прежде или после.

Если в околобуржуазных литературных кругах старой
Эстонии соседняя Швеция служила идеалом добропорядоч-
ной, тихой, уютной жизни, то советскому писателю
Ю. Смуулу бытие среднего шведа кажется пресным и ог-
раниченным. Он знает, что в «минуты роковые», когда ре-
шались судьбы человечества, он, советский человек, нема-
ло приобрел в четырехлетней битве. Его нравственные и
политические горизонты распахнулись, как распахивается
море перед путником, вышедшим из сосновой рощи на бере-
говой утес, его виденье радостей и болей людей стало более
обостренным, его слух более чутким и сердце более отзыв-
чивым.

По точному выражению М. Горького, многие поэты ста-
ли поэтами «героизма на всю жизнь». Таков и Юхан Смуул.

Поэт едва ли не с колыбели сроднился с морской сти-
хией, с неласковым, бурным северным морем. Жизнь и быт
эстонских рыбаков, их песни и сказания, их мечты и чая-
ния кровно близки талантливому уроженцу маленького
острова Муху. Ю. Смуул умеет видеть море, ощущать его,
понимать его крутой нрав, он с неподражаемым мастерст-
вом умеет изображать в стихах и поэмах жизнь, полную
опасностей и каждодневного риска. Вот почему его поэзия
имеет твердую основу — это современное бытие его на-
рода, вот почему ширится и растет круг читателей Юхана
Смуула.

В наших диспутах мы говорили не только об этой корен-
ной породе поэзии, о свободном стихе и «наивном романе»,
о детали у Хемингуэя, но больше всего говорили о войне,
о том чувстве ответственности, которое налагает время на
писателей — бывших фронтовиков. Наконец мы говорили о
гуманизме, о гуманистических идеалах, озаривших нашу
юность и пронесенных нами сквозь пламя военных лет. Да,
чего-чего, а воспоминаний об окопной юности было не-
мало.

У Лахта, моего товарища по творческому семинару,
есть сильное стихотворение «Рассказ о гранате». В осно-
ве стихотворения — правдивая, драматическая ситуация:
где-то под Великими Луками в развороченном блиндаже
поэт увидел трех немецких солдат.

Хрипло, не в силах страдания вынести,
Не воду просили из черного ада —
Просили о малой солдатской милости:
«Eine Granate!»

Нет, он не швырнул гранату в этот черный ад, а велел команде вынести их оттуда, доставить на госпитальный пункт. И вот теперь, спустя много-много лет, поэт задается законным вопросом: что поделывают спасенные им бывшие солдаты? Может быть, кто-то из них, вернувшись из плена, будет «болтать о какой-то гранате, о лагерях, о морозах в России?» Может быть, он перечеркнет прошлое? Постарается забыть его?

Тогда, говорит поэт, пусть его рассказ о гранате послужит предостережением, да нет, больше — острасткой для «Михеля в американской форме»!

Стихотворение Уно Лахта весьма характерно для его товарищей по поэтическому цеху. Суровая школа войны была для них и школой политики. На дорогах отступлений и побед постигали они такие понятия, как советский патриотизм, гуманизм, неистребимое жизнелюбие. Традиции прогрессивной эстонской поэзии XX века они развили и обогатили личным опытом, опытом участников и свидетелей великой схватки двух систем — фашизма и коммунизма. На долгие годы на их поэзию лег отсвет нестерпимых страданий и радостей людских, пережитых ими в военное лихолетье!

...Мы прощаемся с Уно Лахтом. Он не может подарить мне свою книгу на русском языке, потому что, кроме давней сатирической книжки «Соленый огурец», нового сборника у него не выходило. А жаль. Широкую популярность завоевал Лахт своими сатирами, но и его лирический, зрелый талант для меня бесспорен. Хочется надеяться, что недалеко то время, когда русские читатели найдут на полках книжных магазинов новые, более полные сборники стихотворений Уно Лахта.

Бывает такое время дня, когда сумерки сгущаются, но край неба светлеет по-прежнему, и силуэт города на этом светлом фоне вырезан особенно четко и резко. В Тоомпеа, возле старинного Домского собора, я был подавлен тишиной и безлюдьем в эти сумеречные минуты. Массивные стены собора, покрытые морозной пеленой, высоченные вязы, серебристые от инея ограды, черепичные углы крыш — все это как будто даже пригнуло меня своей тя-

желовесностью. Но вот я вышел к городской крепостной стене. Морозный ветер распахнул полы пальто. Глаза за-слезились от этого ветра. Уже зажигались оранжевые, красные, зеленые огни реклам и фонарей. Уже громче, чем днем, выкрикивали тепловозы на поездных путях. Уже не-различимее стали кварталы многолюдного города. Но глав-ное, как будто выросли, поднялись вверх, увеличились в своем количестве заводские трубы. Распустив по ветру длинные клубы дыма и морозного пара, они вставали пере-до мною, уходили к горизонту, делали похожим город на корабль, который стоит под парами, чтобы вот-вот двинуть-ся в далекий рейс. И тогда чувство легкости и окрыленно-сти испытал я при виде этого города-корабля, чувство до-рожного волнения, мучительное чувство, которое вероятно, знакомо каждому из нас. А тень от Домского собора теперь была просто тенью, упавшей за моей спиной. Она больше не волновала меня. Потому что ничто не может сравниться с земной далью, с неумолчным гулом современной, напря-женной жизни.



ПРИЗНАНИЕ В ЛЮБВИ

ПУШКИН И ЗЕМФИРА

Еще твоей молвой наполнен сей предел.
Ты живо впечатлел в моем воображеньи
Пустыню мрачную, поэта заточенье,
Туманный свод небес...

(«К Овидию»)

Стоял конец июля, но жара внезапно спала, и утро, на которое был назначен отъезд, выдалось прохладным. Кишинев провожал путников бляением коз, бегущих по тесным переулкам, скрипом неповоротливых каруц и той утренней дремой, которая,

казалось бы, навсегда поселилась в обывательских садах.

Старый город, тесно сбившийся на берегах речки Бык, в самом деле заслуживал свое прозвище — кишля, что по-молдавски означает овчарня, зимний загон. Было в его мазанках, прилепившихся друг к другу, в низких лавочках, в грязных и шумных базарах, во всей турецкой скученности и тесноте что-то от овчарни. И когда вместительная коляска наконец выехала за окраину города, когда утренний свежак закрутил под колесами дорожную пыль — дышать стало легче.

Казалось, не только Кишинев, но и все, что в нем томило, угнетало, раздражало поэта, — все это осталось позади за некой невидимой чертой.

Более двух лет минуло с той поры, как Пушкин был направлен в бессарабскую ссылку¹. Прожив некоторое время на заезжем дворе Наумова, он после поездки в Каменку поселился в доме наместника Инзова. Этот дом — скучный, двухэтажный особняк — одиноко возвышался на пустыре, и самый вид его поначалу возбуждал в поэте глухую тоску.

Сохранился пушкинский рисунок пером: взгорок, несколько тополей, неотчетливая даль. Уныл и

¹ Среди пушкинистов до сих пор ведутся споры о точной дате поездки А. С. Пушкина в Долну. Мы принимаем как наиболее вероятный 1822 год.

неприветлив этот кишиневский пейзаж, набросанный в минуту горестного раздумья.

Пушкину отвели две небольшие комнаты в нижнем этаже: одну занимал он, в другой — прихожей — жил дворовый дядька Никита Козлов. Постепенно поэт привык к своей обители, к ее голубым стенам, испещренным восковыми пулями (следами упражнений в стрельбе из пистолета), привык к столу с неизменной спутницей скитаний — чернильницей, в которой он не раз находил «то едкой шутки соль, то правды слог суровый, то странность рифмы новой, неслышанной дотоль». Он привык к немного небрежному холостяцкому обиходу, к книгам, брошенным на диван, клочкам бумаги, белеющим на столе, на которые он заносил мелькнувшую строку или профиль кишиневского знакомого.

Но что неизменно тяготило его и раздражало, так это окна с железными решетками. И хотя окна выходили в сад и решетки служили только мерой предосторожности от ночных грабителей, они непрестанно напоминали о собственной участи поэта.

В 1822 году он написал своего знаменитого «Узника». Родилось ли это стихотворение после посещения кишиневского острога, как утверждают современники, или его первые строки возникли здесь, в нижнем этаже Инзова дома, — никто с точностью сказать не может. Известно одно, что генерал Инзов не однажды подвергал поэта домашнему аресту, что у дверей его в такие дни стоял часовой, и тогда «келья отшельника» воистину превращалась для него в домашний острог. Пушкин писал melancholические послания друзьям, часто встречался с бади Тодором — дворецким наместника, у которого он учился молдавскому языку, и особенно нетерпеливо ждал писем из далекого Петербурга. Но почта приходила редко, и сам поэт слал на север письма, запросы и «бессарабские бредни», как он иронически называл новые стихи. В 1823 году в «Литературных листах» появилось одно из таких новых стихотворений. Называлось оно «Птичка». Поэт был счастлив, что при «светлом празднике весны» он мог даровать свободу хотя бы одному творенью — выпустить на волю птицу. Издатели постарались зашифровать явный автобиографический и политический смысл стихов коротким примечанием, а петербургские друзья поэта могли только посочувствовать ему: ни царский двор, ни сам император Александр ничего не простили Александру Пушкину и даже не мыслили даровать ему свободу. Пуш-

кин как был, так и оставался вольнодумцем. Тайный агент из Кишинева доносил «по начальству», что «Пушкин ругает публично и даже в кофейных домах не только военное начальство, но даже и правительство».

Можно представить, как обрадовало Пушкина предложение его приятеля Константина Ралли поехать в кодры, в молдавские леса, в село Долну, которое принадлежало отцу Константина — помещику Замфираки Ралли.

Дорожную коляску мягко покачивало на выбоинах: лошади бежали ходко.

День никак не разгуливался, и было такое ощущение, что вот-вот начнет накрапывать дождь, а он никак не начинался, и поэтому в природе все притихло, притаилось в ожидании.

Далеко впереди, на широкой, пустынной обочине, возникло что-то пыльное, медленно нарастающее; завиднелись верха повозок, стал внятнее лай собак, донесся нестройный гул, какой возникает в степи от скопища людей и животных. Оборачиваясь на коляску, с дороги сошла старая цыганка. Она отогнала в сторону ослика, из переметных корзин которого таращили любопытные глаза цыганята. Женщины шли за фургонами нестройной толпой; они сильно жестикулировали, переговариваясь между собою. Мелькнула ослепительная улыбка одной из них. Старик в рваных, измазанных дегтем портах согнулся в низком поклоне; хрипя, закосился коренник, — и снова зачастили пыльные орешники, снова дорогу окружила всхолмленная пустынная равнина. Но не было в ней уже ожидания и томления. Солнце прорвало завесу облаков, и, обернувшись назад, можно было видеть, как вольно и неторопливо шел по степи табор, как яркие были ковры на передках телег.

Разговор зашел о цыганах. Их походные кибитки тянулись по берегам Днестра и Прута, белели возле стен Аккермана, окутывались облаками пыли в буджакской степи.

В самом Кишиневе цыгане ставили свои шатры на склонах Инзовой горы, возле дома полковника Салева.

Пушкин хорошо знал историю происхождения цыган; он читал записки английских путешественников, которые первыми в Европе доказали, что цыгане принадлежали к отверженной касте индийцев, называемых париа, что

их язык и то, что можно назвать их верою, — даже черты лица и образ жизни — верные тому доказательства. Перед их приверженностью к дикой вольности были бессильны меры, которые в разное время предпринимались правительствами европейских стран: они кочевали в России, как и в Англии.

Однако Константин Ралли рассказал своему другу, что в Молдавии именно эти приверженцы первобытной свободы закрепощены, что они обязаны платить со своих подаяний и сборов дань супруге господаря. Во владениях его отца, Замфираки, было несколько таборов лесных цыган; они ведут более оседлый образ жизни, чем их степные собратья.

— А впрочем, — добавил он, — мы можем побывать у них по дороге из Долны в Юрчены.

В Юрченах у Ралли было что-то вроде охотничьего домика или лесной дачи, и здесь же по пути в Долну приятели условились, что непременно проедут в Юрчены и, если поправится, проживут там несколько дней.

...Уже который вечер, едва густели сумерки, едва начинали светиться огни костров, поэта неудержимо тянуло вниз — туда, где у проселочной дороги, за крайними хатками Юрчен, раскинулся табор Булибаш¹. Сам Булибаша — величавый, степенный старик — встречал его неизменным «Просим!». Он немного говорил по-русски и был приветлив к молодому Пушкину той искренней, простой приветливостью, в которой угадывается ум и немалый жизненный опыт. Но не беседы старика, не песни, не пляски обитателей табора влекли Александра. Влекла его Земфира — цыганка, дочь Булибаша.

Озаренные пламенем костра, в небольшом кольце взрослых, боролись маленькие цыганята. Они пытались осилить один другого с такой серьезностью, с таким усердием, что невозможно было не расхохотаться. И Пушкин хохотал от души. Он вспоминал, как и они, маленькие лицеисты, боролись на лугу и как слезы обиды и огорчения выступали у него на глазах. Какие это были славные, сладкие слезы! Может быть, с тех самых лицейских времен и не было у него на душе так вольготно, так легко, как

¹ Булибаша — старейшина табора.

сейчас в этом таборе, среди простодушной, говорливой толпы.

Александр быстро взглянул на девушку — и она поразила его, — нет не красотой лица, хотя Земфира и была красива, а каким-то врожденным изяществом.

В том, как она закинула руки за голову и рукава ее кофты свободно упали на плечи, как она с улыбкой, искоса посмотрела на него, он уловил главное в ней — естественность всей ее натуры, каждого ее жеста и движения. Эту естественность она унаследовала от самой природы, такой щедрой и величавой в этих краях.

Все разошлись. В продымленном котле побулькивало пшено. Земфира подкидывала в костер сухие ветки, и тогда, при внезапных вспышках света, медно-красно отливали тяжелые монеты на ее груди, гуще падала тень от волос на смуглое лицо.

Табор затихал. Сквозь полотно ближайшей палатки желтело пятно светильника. Резко качнулся силуэт женщины: она успокаивала ребенка, а тот все никак не мог утомониться.

Внезапно цыганка запела, и голос ее, доносившийся из-за полога, был глух:

Арде-мэ, фриже-мэ¹,—

пела цыганка.

Пушкин и раньше слышал эту песню, и всегда она захватывала его дикой силой, затаенной страстностью. Но здесь, в таборе, над колыбелью ребенка, она была какой-то иной — в ней не было вызова и ослепляющей ненависти, а была лишь одна любовь.

Песня смолкла внезапно, как и началась. Но ее отзвук долго жил в настороженной тишине, не гас, не таял в густом ночном мраке.

Луна сияла в полную меру, и, казалось, весь мир был напоен ее мерно льющимся, сухим звоном; это неумолчно, напряженно звенели цикады. Бездну неба, поблескивающую звездами, теснили черные кущи садов, которые вплотную подступили к табору, окружили его безмолвным хороводом. По влажной от росы траве, то пропадая в тени

¹ Жги меня, испеки-меня (молдавск.).

деревьев, то снова возникая на полянах, далеко-далеко протянулся двойной след.

Пушкин не уехал из Юрчен ни через два, ни через три дня, как они договаривались с Константином Ралли. Не уехал он и через неделю. Обеспокоенный старик Земфираки дважды присылал нарочного из Кишинева: не случилось ли чего с молодыми людьми. Но Константин отписал отцу, что ничего с ними не случилось, — «Александр Сергеевич просто-напросто сходит с ума по цыганке Земфире». Возвратившись наконец-то в Кишинев, Константин в кругу семьи рассказывал, что Александр Сергеевич бросил его и поселился в шатре Булибаши. По целым дням он и Земфира бродили в стороне от табора, и Константин видел их держащимися за руки и молча сидящими среди поля.

Сам Александр, обычно словоохотливый и откровенный, по приезде из деревни не обмолвился ни единым словом. Константин да и все семейство Ралли объяснили эту замкнутость Пушкина довольно просто: не иначе как цыганка бросила своего вдохновенного поклонника и Пушкин мучился ревностью и тоской. Одно было достоверно известно, что Земфира неожиданно исчезла из табора, и Пушкин напрасно искал ее по всей округе, ездил даже в Варзарешти. Однако и там ее не оказалось, благодаря, конечно, цыганам, которые успели предупредить своих соплеменников.

Через год Константин Ралли писал Пушкину в Одессу, что Земфиру зарезал ее возлюбленный — цыган.

Еще в бытность Пушкина в Кишиневе его пребывание в цыганском таборе стало предметом пылких толков и пересудов. Степенное чиновничество не могло, конечно, простить ему независимости суждений, его вольномыслия, даже небрежности его наряда. В материалах к биографии поэта П. А. Бартенев пишет, что «досадно им было смотреть, как он разгуливает с генералами в своем архалуке, в бархатных шароварах... и размахивает железною дубинкою. Вдобавок не попадайся ему, оборвет как раз...»

Куконицы — жены куконов, местных «бояринов» —

без конца делились друг с другом догадками, предположениями и самыми невероятными сведениями про «эскапад Пушкина с цыганкой». А когда появилась поэма «Цыганы», без разговора о прелестной дикарке и поэте не обходилось ни одно чаепитье. Немало было язвительных сплетен, но уже при жизни Пушкина возникали легенды о нем, и даже современникам нелегко было отделить вымысел от правды.

В конце века самые фантастические рассказы стали попадать в печать. Так, Л. С. Мацеевич собрал воспоминания кишиневских старожил о Пушкине. Большинство этих воспоминаний не подымалось выше обывательских анекдотов о великом поэте. Мацеевич записал, к примеру, рассказ некоего М. Шонина. Вот как выглядит предыстория «Цыган» в его изложении. Однажды, повествовал Шонин, Пушкин гулял в окрестностях Кишинева. Наперерез ему бросилось несколько взрослых цыган или мальчишек с целью ограбить или выпросить себе что-нибудь, что, впрочем, безразлично, меланхолически замечает Шонин.

Из дальнейшего сообщения следовало, что Пушкин якобы испугался этой встречи, повернул к городу, а дошедши до дома Стамати, вбежал к нему и быстро произнес: «Пера и чернил!» И здесь-то, торжествуяще заключает повествователь, были написаны первые стихи «Цыган».

Но своеобразный рекорд среди всех этих «историй» побила все-таки Елизавета Францева, опубликовав в трех номерах журнала «Русское обозрение» за 1897 год «семейные предания» — «А. С. Пушкин в Бессарабии». Под этим деловым названием скрывается пухлая, многостраничная повесть.

По «семейным преданиям» Е. Францевой следовало, что не кто иной, как именно ее отец, г-н Кириенко-Волошинов, чиновник канцелярии заместителя Инзова, записал одно «истинное» происшествие, случившееся в цыганском таборе под Кишиневом. Пушкин же, прочитав эту рукопись, сделал поэтическое изложение ее — «Бессарабские кочующие цыгане». Это изложение и сохранилось в памяти Е. Францевой, его она и считает «первым вариантом» поэмы «Цыганы».

Думается, г-жа Францева не постеснялась выдать за вновь открытую рукопись великого поэта собственные упражнения в стихах и прозе.

Только записки З. К. Ралли-Арборе, в отличие от дру-

гих свидетельств кишиневских старожилов, вызывают полное доверие. Эти записки мы и положили в основу нашего рассказа о поездке Пушкина в Долну.

Сам автор этих записок был весьма примечательной личностью. Писатель, крупный революционный деятель, ближайший сподвижник Бакунина, Замфир Константинович Ралли-Арборе рано осиротел. Поэтому он составил запись семейных рассказов о Пушкине не со слов отца Константина Ралли, а со слов тетки Екатерины Захаровны Стамо, хорошо знавшей, как, впрочем, и все семейство Ралли, высланного в Кишинев поэта.

Маленького роста, с выразительным смуглым лицом, прекрасными большими глазами, Екатерина Захаровна была умна и начитанна.

На одном из черновиков поэмы «Цыганы» есть рисунок табора: шатер, силуэт женщины, кормящей грудью, телега, бродячая собака. И, как ни странно, здесь же профиль нахмуренного, насупленного мужчины восточного типа. По словам Блока, Пушкин чувствовал «какую-то освободительность рисунка», машинально чертил то, чем был занят в данное время. Исследователи установили, что профиль на рукописи «Цыган» принадлежит Апостолу Стамо, мужу Екатерины Захаровны.

Тетка Ралли-Арборе была несчастлива в браке. Ее муж, кишиневский чиновник, был намного старше своей молодой жены. Пушкин прозвал его «бараньей физиономией» (точнее, в переводе с французского «баран-вожак»). В письме, адресованном кишиневскому приятелю Н. С. Алексееву и помеченном тридцатым годом, наоборот, поэт с большой теплотой отзывался о самой Екатерине Захаровне, как о женщине «милой воспоминанию». Все эти факты показывают, что с одной стороны, творческая история «Цыган» более сложна, чем это принято думать, а с другой, что в период создания поэмы — в январе — октябре 1824 года — Пушкин думал о семействе Ралли, думал о тех непростых отношениях, какие сложились между ним и этим семейством.

Вот почему исследователь жизни и творчества А. С. Пушкина Петр Щеголев заметил, что «изо всех известных рассказов о том, как Пушкин бродил среди цыган, только от рассказа Е. З. Стамо веет жизненной правдой».

Б. Трубецкой — автор книги «Пушкин в Молдавии», выдержавшей несколько изданий, присоединяется к суждению П. Щеголева и добавляет, что эти вполне правдо-

подобные жизненные факты в биографии Пушкина легли в основу поэмы «Цыганы».

Со слов Е. З. Стамо излагается поездка Пушкина и Константина Ралли в Долну М. А. Цявловским в его подвижнической «Летописи жизни и творчества А. С. Пушкина». Другое дело, что к толкованию фактов и к некоторым подробностям в рассказе Е. З. Стамо следует подойти с большой осторожностью. Например, Екатерина Захаровна говорит своему племяннику, что даже спустя много лет она хорошо помнит Земфиру. Вместе с тем лично она едва ли могла видеть цыганку, потому что после пребывания Пушкина в таборе Земфира исчезла, а до ее встречи с Пушкиным на нее вряд ли обращали внимание кишиневские господа.

Кроме того, Екатерина Захаровна, вольно или невольно, придала портрету Земфиры черты экзотической красавицы, дикарки («Одевалась Земфира по-мужски, носила цветные шаровары, баранью шапку, вышитую молдавскую рубаху и курила трубку»), что вполне соответствовало представлениям Е. З. Стамо о девушке из табора.

Не случайно, после того как Пушкин прислал своих «Цыган», — «все мы, — рассказывает тетушка Ралли-Арборе, — много смеялись над пылкой фантазией поэта, создавшего из нашей (выделено мною. — В. Д.) Земфиры свою свобододолюбивую героиню». Неприязненно отнеслась Е. З. Стамо и к «неисправимому эгоисту» Алеко, которому, по ее мнению, вряд ли следовало идти в табор «наших бедных юрченских дикарей».

Вообще в воспоминаниях Екатерины Захаровны Земфира представляет этакой *amourette*, а история взаимоотношений Пушкина с нею «шалостью», забавным приключением молодых людей, приехавших рассеяться в родовом поместье.

Факты говорят о другом. Сам Пушкин — и это дважды подчеркивает Е. З. Стамо — не обмолвился ни единым словом о поездке в Долну и Юрчену. Зато в эпилоге к «Цыганам» можно встретить автобиографическое признание:

...Встречал я посреди степей
Над рубежами древних станов
Телеги мирные цыганов,
Смиренной вольности детей.
За их ленивыми толпами
В пустынях часто я бродил,
Простую пищу их делил
И засыпал пред их огнями,

В походах медленных любил
Их песен радостные гулы —
И долго милой Мариулы
Я имя нежное твердил.

Пусть читателей не смущает имя Мариулы — такова была литературная традиция пушкинской эпохи. В духе этой традиции Пушкин себя называл Эмилием. Под условным именем Мариулы он мог скрыть и подлинное имя той цыганской девушки, которую он встретил в таборе Булибаши и которую мы, следуя за З. К. Ралли-Арборе, называем Земфирой.

Ее имя важно было скрыть еще и потому, что Пушкин знал, не мог не знать о том снисходительно-ироническом отношении, которое вызывала его нежная, пылкая привязанность к Земфире со стороны близких ему людей. А ведь такими людьми в Кишиневе были Екатерина Стамо и Константин Ралли. Екатерину Захаровну — и это видно по ее воспоминаниям — задела любовь Пушкина к Земфире, крепостной цыганке ее матери. Вот почему она и постаралась не только принизить образ Земфиры, но и изложить всю историю как одно из легких увлечений, шалостей поэта-повесы.

Так ли это?

Без внимательного прочтения «Цыган» невозможно проникнуть в душевный мир двадцатипятилетнего поэта, понять главное в его мироощущении и мироощущении.

По выражению А. Слонимского, в «Цыганах» совершается драматический переход «от счастья к несчастью», как в греческой трагедии по знаменитому определению Аристотеля. Этот переход подчеркивается не только судьбами Алеко и Земфиры, но и звуковой инструментальной поэмы, ее общим музыкальным звучанием. Посмотрите, сколько веселого оживления, пестроты, красочности в первых главах поэмы, описывающих сборы табора в недалекий путь, как разнообразна звукопись поэта.

Крик, шум, цыганские припевы,
Медведя рев, его цепей
Нетерпеливое бряцанье,
Лохмотьев ярких пестрота,
Детей и старцев нагота,
Собак и лай и завыванье,

Волынки говор, скрип телег,
Все скудно, дико, все нестройно;
Но все так живо-неспокойно,
Так чуждо мертвых наших нег...

Но как приглушены, как скорбны тона в последней главке: «...Поднялся табор кочевой с долины страшного ночлега. И скоро все в дали степной сокрылось...» Создается ощущение, что табор бесшумно исчез, как исчезает станица перелетных птиц в бескрайней голубизне неба. Вот здесь-то и возникает в воображении поэта образ смертельно раненной птицы: одинокая кибитка, крытая убогими коврами, действительно издали напоминает птицу с перебитым, опущенным долу крылом.

Таков, но сути дела, и Алеко.

Если бы Пушкин только «развенчивал байронического героя», как и поныне толкуют «Цыган» школьные учебники и программы, то этого образа — образа птицы, «прозенной гибельным свинцом», — в поэме не было бы, а все произведение имело бы лишь историко-литературный, познавательный характер.

Но поэма задумана как произведение о современном человеке и для современного человека (Б. Томашевский).

Напрасно Алеко тешил себя иллюзиями, что только в опрощении, только в пренебрежении благами цивилизации и «просвещения» он обретет самого себя. Он так же чужд городской толпе, где его сограждане «любви стыдятся, мысли гонят», как и толпе нищих цыган. Алеко «зол и смел», однако это не приносит ему счастья, наоборот, его смелость и злость ведут его к паденью, к гибели.

«Ты для себя лишь хочешь воли», — пророчески говорит ему старый цыган. Крушение всех жизненных и нравственных принципов Алеко происходит не из-за его врожденного эгоцентризма, не из-за дурных склонностей характера, ослепления ревностью и т. д., а из-за ложного, противоестественного положения человека в современном мире, которое заставляет искать его пристанища в патриархальной, первобытной среде, то есть поддерживает в нем иллюзии о «золотом веке» человечества.

В таборе Алеко изменился, но изменился он внешне, усвоив привычки окружающих, применившись к новым условиям жизни. Ему кажется, что он уже стал «вольным жителем мира». Но сущность его осталась неизменной — он был и остается воплощением духовного одиночества. Он сам не хочет и не смеет додумать это до конца; он

даже здесь, под пологом шатра Земфиры, «грусти тайную причину истолковать себе не смел».

Вот почему Алеко испытывает жгучую потребность в любви. И эта потребность в нем тем острее, чем определеннее возникает в нем ощущение собственной неустроенности, своей одинокости. Он жаждет любви как единственного и последнего средства духовного возрождения. Любовь Земфиры для него — это путь к восстановлению кровных, неразрывных связей с людьми, с обществом, пусть даже в такой его примитивной формации, как цыганский табор.

Не кто-нибудь, а именно Земфира «в минуту разогнать умела» его тайную грусть, его задумчивость, вселяла в него чувство полноты жизни и счастья. Алеко — этому «антигерою» прошлого века — более необходима любовь, чем ей самой. Земфиру же любовь тяготит, она скучает с человеком, который сложен, непонятен для нее, как сложна и непонятна среда, которая породила его рефлексю, его безысходную задумчивость.

Мы любим горестно и трудно,
А сердце женское шутя,—

сказано в черновиках «Цыган». Здесь — в этом противопоставлении двух мироощущений — и заключена драма любящих сердец. У Алеко даже расцвет его любви омрачен тяжкими предчувствиями, чувством непрочности счастья. Не случайно Алеко молит свою подругу:

Не изменись, мой нежный друг,
А я... Одно мое желанье
С тобой делить любовь, досуг
И добровольное изгнанье.

Любовь Земфиры лишена такой трудной, горестной окраски: ей неизвестно чувство неуверенности в любимом человеке, боязнь за него. Ведь для Земфиры любовь отнюдь не является таким всепоглощающим чувством, такой роковой страстью, какой она является для этого пария в среде отверженных. Щедротами своей души Земфира делится радостно и простодушно. И как только любовь становится ей в тягость, не доставляет ей этой радости одарения — она покидает своего возлюбленного.

Так стремительно и неотвратно нарастает в поэме трагическая развязка. Но иллюзии нравственного обнов-

ления, перерождения личности под влиянием патриархальной среды были устойчивы. Вот почему Пушкин, когда поэма была уже завершена, в эпилоге счел необходимым еще раз подчеркнуть главную мысль:

Но счастья нет и между вами,
Природы бедные сыны!
И под изданными шатрами
Живут мучительные сны,
И ваши сени кочевые
В пустынях не спаслись от бед,
И всюду страсти роковые,
И от судеб защиты нет.

Можно предположить, что гибель цыганской девушки Земфиры, о которой писал Пушкину Константин Ралли, послужила толчком, поводом для написания этого эпилога, а в нем — философский вывод поэмы: современному человеку мало «смирной вольности» бедных детей природы. Не принесет ему счастье ни самоотречение, ни бегство в природу, ни погружение в «сердечную лень».

Только в тревогах жизни бурной, только в жажде деяния, достойного его самого, может обрести человек желаемое обновление — таков философский вывод «Цыган», этой лучшей романтической поэмы А. С. Пушкина.

«ЕЩЕ ТВОЕЙ МОЛВОЙ...»

Я не знаю, кто из людей, причастных к литературе, удержался бы от соблазна побывать в местах, где Пушкин встречался с цыганкой Земфирой, где он познал любовь и долгую, неутолимую печаль? Я от такого соблазна не удержался. И наша поездка в Долну навсегда останется живейшим воспоминанием в моей памяти.

Помогли мне в этой поездке и составили компанию журналист Василий Широкий, поэт Виктор Кочетков, кстати сказать, пешком исходивший памятные пушкинские места, и наш друг Алеша. Почти полтора года лет прошло с той поры, как дорожная коляска с двумя молодыми людьми выехала за окраину Кишинева. Но и нам было отрадно покинуть раскаленный город, его грохочущий от нескончаемого потока грузовиков, самосвалов, троллейбусов проспект Молодежи и повернуть на северо-запад — туда, где скрывалось таинственное для меня селение Долна.

Вот когда наконец-то я увидел настоящую Молдавию. По мере того как под колеса редакционной «Волги» бросались все новые и новые километры шоссе, один вид живописнее другого открывался нашему взору. Иногда казалось, что машина стоит на месте, а вся округа с полями подсолнечника и кукурузы, с дальними холмами и облаками медленно поворачивается вокруг своей оси, а в центре этой оси находишься ты, просто по-человечески удивленный красотой Молдавии.

У всех у нас было такое приподнятое состояние. Я называл бы его счастьем дороги. Когда ветер врывается в кабину и треплет волосы, когда мимо со свистом проносятся автобусы и грузовики, начинаешь особенно оживленно говорить, но не слушаешь ни себя, ни других, потому что все время замираешь от ожидания чего-то неизъяснимо прекрасного, что ждет тебя в конце пути.

— Вообще-то Молдавия — страна линий, а не красок, — неожиданно сказал Вася Широкий.

И как ни парадоксально было это определение солнечной, зеленой Молдовы, приглядевшись, нельзя было не согласиться с ним. Линии, плавные и мягкие, то сливались друг с другом, то разъединялись, образуя прихотливые узоры виноградников, садов, пастбищ, склонов водохранилищ. Позднее мне довелось повидать в республиканском музее пейзажи П. А. Шиллинговского, и я обратил внимание, что именно в непрерывном узорном ритме, а не в коричневых «жженных» тонах художник передал свое ощущение Бессарабии.

Внезапно кружение холмистых склонов замедлилось — машина свернула с шоссе на проселочную дорогу и стала взбираться вверх по откосу: Долна!

Машина остановилась возле белого здания, бывшей помещицкой усадьбы, и мы огляделись вокруг.

Если уподобить девственные кодры океану, то село Долна похоже на рыбацкий поселок, что приютился в глубине небольшой бухты. Вправо и влево от нас, вплоть до самого горизонта, застыли валы зеленых холмов, а перед нами краснели черепичные крыши хаток. Селение было рассыпано в том живописном беспорядке, который всегда поражает людей, выросших на равнинах. А над всем этим великолепием — гигантский купол тишины и покоя.

Мне довелось побывать во многих районах нашей страны, связанных с именем Пушкина, и у меня создалось впечатление, что отпечаток гениальности лежит на самой

природе, на ее величавости и простоте, что отнюдь не случайно именно в таких краях земли, как долнианские кодры, рождались великие творения ума и таланта.

Осмотр экспозиций музея занял немного времени. Среди музейных экспонатов, фотоконий, рукописей поэта, прижизненных изданий, картин местных художников наше внимание привлекли изумительные иллюстрации к «Цыганам» народного художника СССР И. Т. Богдеско. Иллюстратор не только нигде не погрешил против исторической правды и не только избежал слащавой «цыганщины», например, в портрете Земфиры, но и, следуя вольнолюбивому духу поэмы, вынес действие на бескрайние просторы Молдавии. Природа в его рисунках — не фон, а активный соучастник событий, та стихия, в которой нашли недолгое счастье и гибель Алеко и Земфира.

Позднее Илья Богдеско рассказал мне, что по примеру Пушкина он увязался в давнем, 1953 году, за цыганским табором и прошел с ним немалую часть степной Молдавии, делая на ходу зарисовки и эскизы. Произошло это случайно: молодого художника привлекла красота цыганской девушки, которую, как он потом узнал, тоже звали Земфирой. Но по древнему поверью цыган человека нельзя рисовать. Это — дурная примета, человек непременно умрет. Тогда, чтобы в самых общих чертах схватить присущее «своей» Земфире изящество движений, ее гордый и независимый нрав, Илья Богдеско пустился в путь с крохотным — из трех телег — табором. Дорожные наброски и зарисовки пригодились ему позднее, когда художник приступил к иллюстрации пушкинской поэмы, — давнишней своей мечте.

Мы вышли из музея. После полумрака и прохлады комнат особенно ярко блестела зелень, густо синели напоенные зноем лесные дали. Окруженные тишиной и величавым покоем, мы не сразу заметили гранитный обелиск, притененный старым каштаном. И не будь с нами Виктора Кочеткова, мы прошли бы, вероятно, мимо него, допустив горькую ошибку!

Этот серый гранит имел прямое отношение к памяти А. С. Пушкина.

...Напрасно румынские оккупанты, незаконно захватившие Бессарабию в восемнадцатом году, пытались вычеркнуть имя Пушкина из сознания молдавского народа. На-

напрасно изрубили они топором надпись на памятнике поэта в Кишиневе и заменили ее румынской. Напрасно сожгли Пушкинский народный театр, открытый к столетию со дня рождения поэта и известный под названием «Пушкинской аудитории».

Светлый облик Пушкина не померк в сердце народном. Воистину его «молвой наполнен сей предел». Друг К. Стамати, К. Негруци, А. Доница, А. Руссо и других писателей-реалистов, зачинателей новой литературы, он был близок молдавской интеллигенции. Поэт, подаривший миру «Цыган», «Братьев-разбойников», молдавскую песню «Черная шаль», песню Земфиры («Старый муж, грозный муж»), он был близок и дорог простым сельчанам, которые распевали его песни, пересказывали его поэмы. Вольнодумец, сосланный русским царем в южные степи, сочувственно изучавший историю, быт, нравы порубежных народов, он вошел в сказания и легенды.

Когда-то Пушкин искал следы пребывания Овидия Назона на берегах Днестра и Дуная, искал и записывал молдавские и цыганские предания об этом «странном», «необыкновенном», «святом» изгнаннике, не раз обращался к нему в своих стихах и поэмах.

Сравнивая судьбу римского поэта с собственной изгнаннической участью, молодой Пушкин в порыве горечи и самоотречения воскликнул:

Увы, среди толпы затерянный певец,
Безвестен буду я для новых поколений...

Время рассудило иначе.

Тимофей Брандабура, старожил Долны, со слов отца и деда рассказывал предание об одном русском, жившем некогда в их селении. Он заходил в крестьянские хаты, беседовал с крестьянами, слушал их песни. Этот русский с добрым сердцем и светлым умом был великим писателем, и звали его Пушкин.

Крестьяне воссоздали образ Пушкина, в отличие от кишиневских обывателей, охочих до пересудов и досужих толков, в традициях народных дум и старинных песен. В их сказаниях он не только великий поэт, но и провидец судеб народных. Вот почему осенью 1940 года, после освобождения Бессарабии, жители ниспоренской округи первую свою артель называли именем Пушкина.

Но 2 апреля 1942 года румынско-фашистские каратели здесь, в Долне, расстреляли председателя Пушкинского

сельсовета Дорошкевича И. А., председателя Миклушско-го сельсовета Булигу Н. А., деревенских активистов Дорошкевича Г. А., Пырэу К. И. и Урсу К. К. Их могильный холм присыпан землей, которую полюбил поэт в долгом изгнании, по которой он ходил легкой и стремительной походкой.

...Мы стоим возле скромного обелиска. Узловат ствол старого каштана, развесист его зеленый шатер — благодатна земля, взрастившая его. Щедро полита она весенними дождями и кровью людскою. Тихо и солнечно вокруг. Так тихо, что на какое-то мгновение можно услышать въявь голос поэта, который немного нараспев, на старинный лад читает бессмертные строфы:

Но если обо мне потомок поздний мой,
Узнав, придет искать в стране сей отдаленной
Близ праха славного мой след уединенный,—
Брегов забвения оставя хладну сень,
К нему слетит моя признательная тень,
И будет мило мне его воспоминанье...

В ЮРЧЕНАХ

В Юрченах — большом молдавском селе, утонувшем по гребли крыш в садах и виноградниках, мы долго разыскивали Павла Петровича Андриеша — директора местной школы и краеведа. В любом из нас жила тайная мысль: а не расскажет ли нам Павел Петрович что-нибудь новое о Пушкине и Земфуре, не поведаст ли какую-нибудь легенду, существующую среди местных жителей до сих пор?

Кто-то из бывших учеников показал нам дом Андриеша. Притулившийся к крутому откосу, этот дом ничем не выделялся среди других юрченских домов с террасами, хозяйственными пристройками, гирляндами желтых табачных листьев и всем тем давно обжитым уютом, который так привлекает приезжих горожан. Как и в соседних дворах, здесь торчали на кольях перевернутые горшки, сквозь зелень просвечивали дымчатые сливы, тяжело клонились шапки подсолнухов. Только, может быть, ниже над окнами опускался навес толстой камышовой крыши да поменьше были старинные переплеты рам. Павел Петрович был болен, и поэтому роль гостеприимной хозяйки взяла на себя его теща А. Ф. Палади. Мы поднялись по ступеням

крыльца и прошли в одну из комнат. Толстые балки потолка, маленькие окна, да и все полугородское, полудеревенское убранство комнаты, которое характерно для квартир сельских учителей, настраивало на неторопливый разговор.

Вот здесь-то нам по-настоящему и повезло.

— Вы знаете, а ведь по этим половицам ступал Александр Сергеевич Пушкин, сюда к нему из табора приходила Земфира,— сказала нам А. Ф. Палади.

Можно представить, каким радостным и неожиданным для нас было это известие. В него не просто хотелось верить, в него невозможно было не поверить. «Наша память хранит с малолетства веселое имя: Пушкин» (Блок),— и приобщиться к этому веселому и светлому имени — счастье для любого. И это счастье мы находим не только во все большей и большей глубине постижения поэтического гения Пушкина, но и в личных, субъективных переживаниях, которые доставляют нам памятные пушкинские места. А здесь мы в некотором роде становимся первооткрывателями, мы узнаем какой-то новый штрих, какую-то новую деталь в биографии поэта. Здесь мы можем вволю помечтать, зримо представить себе, как вот на этой скамье сидел Пушкин, как он нетерпеливо ожидал Земфиру, как она входила в эти комнаты...

Но хотелось новых подтверждений, новых доказательств, что именно здесь жил А. С. Пушкин более ста сорока лет тому назад.

— Когда-то Юрчены были небольшим хутором,— продолжала А. Ф. Палади,— и сюда летом приезжали господа помещики — отдохнуть, поохотиться в окрестных лесах. Наш дом был чем-то вроде охотничьей сторожки. Он — старый, очень старый: однажды мы затеяли ремонт, потребовалось продолбить балки — и дерево не могли взять железом: от старости оно стало крепким, как кость. В нашем доме жил Александр Сергеевич, когда он приехал в Юрчены!..

Вскоре мне довелось узнать новые подробности из истории дома Андриеша.

«Дом, в котором мы живем,— писала мне в Москву А. Ф. Палади,— я унаследовала от своей прабабушки, которой в 1918 году, когда я прибыла в Юрчены, было сто лет. По ее рассказам, этот дом когда-то принадлежал помещику Ралли. В 1922—1923 годах в Бессарабии издавалась газета «Бессарабское слово» на русском языке.

В этой газете мы с мужем прочли статью о том, что А. С. Пушкин был на хуторе у Ралли и ступал в нашем доме...»

Вот оно, «милое» поэту воспоминание о нем! Вот оно, живое предание, передаваемое из рода в род!

...Мы едем в Ниспорены, а потом обратно в Кишинев. Но у каждого такое чувство, словно здесь, под этой камышовой кровлей, мы оставили частицу собственной души.

Среди быстро сменяющихся впечатлений, которые дала мне поездка по Молдавии и придунайским районам Одесщины, пребывание в селе Пушкине и в Юрченах было едва ли не самым сильным и глубоким. Однако цель моей поездки вовсе не заключалась только в сборе материалов к такой, например, теме, как «Пушкин в южной ссылке». Нет, все вышло, как говорится, само собой. Смутная мечта, жившая во мне давно, — посетить земные уголки, города и веси, где некогда жил А. С. Пушкин, привела меня в Кишинев. Оттуда я проехал в село Пушкино и в Юрчены, а затем почти по пушкинскому маршруту — в Белгород-Днестровский (Аккерман), в Измаил, в городок Вилково, в те места, в которых по преданию окончил свой век Овидий Назон.

Пестрая, случайная смесь путевых наблюдений, без которой не обходится ни одно путешествие, — все это заносилось мною в черновики моих писем. Мне хотелось воссоздать пусть мозаичный, пусть неполный, но по мере сил и возможностей живой образ Молдавии. Вернувшись в Москву, я стал приводить в порядок свои записи, с головой ушел в изучение старинных документов, воспоминаний современников, книг пушкиноведов. Короче говоря, опыт Ираклия Андроникова в какой-то мере послужил для меня примером. Зная, как сухо, малоинтересно подчас преподается поэзия А. С. Пушкина в наших школах, я попытался оживить рассказ о молодом Пушкине и цыганке Земфире, не отступая, однако, ни в чем от архивных первоисточников и свидетельств современников. Думаю, что большой беды в этом нет. Но мои молдавские письма были бы неполны, если бы я не рассказал о других памятных встречах, с другими людьми, одержимыми любовью к искусству, к поэзии.

Расти, акация,
 Стройна и висока,
 Достань, акация,
 Вершиной облака.
 Следи за девушкой,
 Что в тишине
 Придет грустить
 С тобой наедине.

Д. м. Карачобан

У каждого народа есть любимые поэты, у поэтов — любимые песни, а в песнях — излюбленные образы, приметы родной земли.

«Сломанные сосны» Яна Райниса живут и долго будут жить в сердцах латышей, как «Одинокое тополя» Михаила Эминеску в сердцах молдаван. И хотя Пушкин не оставил нам ни стихов, ни песен про русскую березоньку, встречать это белоствольное диво было ему отрадно в долгих скитаниях по России. В письме из Крыма, тогдашней Таврии, можно найти такое щемящее душу признание: «Мы переехали горы, и первый предмет, поразивший меня, была береза, северная береза! Сердце мое сжалось: я начал уже тосковать о милом полудне...»

Любой народ, как бы он ни был малочислен и неприретен, ищет в песне исход лучшим чаяньям и думам, ищет свой символ окоренения в отчей земле.

Что и говорить, южная акация не получила столь громкой песенной славы, как украинская ветла или русская березка, но поезжайте в Буджакскую степь, покочайте по селам южной Молдавии, и вы увидите, что это дерево равно им по выносливости и силе, по популярности среди местных жителей.

Когда суховеи гуляют по Заднепровью, когда только чернобыльник торчит на бурых склонах балок, акация зеленеет возле белых хат, бросает узорную тень на выжженную землю.

Вот почему в гагаузских селах можно услышать короткие песенки — «маани» — про акацию, как в северных деревнях частушки про березу и горькую рябину. Это — непривычно жителю других краев и земель, но мало ли непривычного в обычаях и нравах гагаузов? Да и вообще, многие ли знают гагаузов, слышали об этой народности, живущей на юге Молдавии и в Одесской области?

Словно низкорослая, с перекрученным железным стволом акация, выдержавшая напор степных ураганов и бурь, устоял этот народ против испытаний и бед, выпавших на

его долю. У гагаузов — тюркский язык, их духовная культура, их обычаи, их фольклор — ближе всего славянским народам, в особенности болгарам. Вместе с тем в их быту, в их одежде немало черт, присущих турецкому Востоку.

Вообще гагаузские села имеют свой колорит, отличный от колорита соседних украинских или молдавских сел, хотя не следует думать, что все, что там ни увидишь, — будет в диковинку, все будет нести печать исключительности и обособленности. В 1944 году Советская власть окончательно утвердилась на этих землях, и жизнь гагаузов за двадцать лет изменилась стремительнее, чем за два столетия.

Но, возвращаясь к истории этой малой народности, нельзя не отметить, что наряду с болгарами и другими народами Балканского полуострова гагаузы подвергались жестоким гонениям и истреблению со стороны турецких захватчиков.

«От Олега и Святослава до Румянцева и Суворова она была театром наших войн», — писал о Бессарабии Пушкин. В стихотворном отрывке «В степях зеленых Буджака» поэт вновь вернулся к этой мысли: он говорит о болгарских поселенцах, которые стали свидетелями того, как «ратоборствуют державы и грузно правят их судьбой». Такими поселенцами были и гагаузы: они частью переселились в Бессарабию в 1808 году по приглашению командующего русской армией на Балканах М. И. Кутузова.

Еще и теперь можно встретить в Буджаке семьи, где дед служил Осману, отец — русскому царю, сын — румынскому королю, а внук родился уже при Советской власти. Сквозь эту бытовую деталь просвечивает сложная, полная противоречий история гагаузов. Эта деталь подмечена Виктором Кочетковым, который в очерке «Буджакская степь» привел один весьма примечательный разговор со старым гагаузом Николаем Георгиевичем Танасогло.

На старости лет Танасогло взялся за составление гагаузско-русского словаря и гагаузской грамматики. Он имел весьма слабое представление о научной стороне дела, так как не был ученым-лингвистом, но все-таки настойчиво заполнял одну тетрадь за другой гагаузскими словами и их русскими эквивалентами. Этот подвижнический труд старый человек добровольно взял на себя. На вопрос автора, зачем же он все это делает, Николай Георгиевич ответил так:

— Завтра нас спросят, готовы ли мы получить письменность. Мы ответим: готовы, вот наши словари, грамматика, фольклор.

— А вы уверены, что об этом спросят? — поинтересовался В. Кочетков.

— Не сомневаюсь. Прошло время, когда нас путали то с арнаутами, то с болгарами, то с турками. Советская власть поможет нам встать на ноги. Я читал Ленина и уверен, что так будет.

Так уже становится, хотел бы я дополнить старика, и завтра, о котором он говорил уверенно и неколебимо, уже наступает. В этом убедили меня некоторые личные воспоминания. О них-то я и хочу рассказать в этом письме.

...Был он неприметен на нашем горластом поэтическом семинаре. Его неизменный потертый костюм, купленный в сельмаге, его молчаливость, наконец, его упорное стремление сидеть в аудитории позади всех — заставляли меня частенько забывать о нем. А подстрочники его стихов с лежащими на поверхности сюжетами наводили на меня уныние и, покаюсь, заставляли думать о бесцельной трате времени, о бесполезности моих семинарских занятий.

Лишь однажды он, широко улыбаясь, подал мне толстую книгу и сказал, что здесь напечатаны его стихи. Книга вышла на родном поэту языке, и я смог среди выходящих данных по-русски прочитать только, что называется она «Буджакские голоса» и что вышла книга в Кишиневе.

Мог ли я знать тогда, что это один из первых литературно-фольклорных сборников гагаузов, а стихи в нем — стихи первого поэта-профессионала Дмитрия Карачобана.

Я и раньше слышал, как студенты подшучивали над Карачобаном, называли его «классиком», но эти шутки не достигали цели: Карачобан сохранял невозмутимость и замкнутость, а классиками ребята по доброте душевной называли всякого, кто привел их в восторг нарой хорошо зарифмованных строк. Но все оказалось серьезнее, чем мне думалось тогда. Гагаузская литература действительно одна из самых молодых братских литератур нашей необъятной страны. Началом ее развития следует считать только 1957 год, когда гагаузы, живущие в южной Молдавии, получили свою письменность и стали публиковать стихи

и рассказы на родном языке. И Дмитрий Карачобан был действительно автором стихотворений, включенных в учебники и школьные программы. По его стихам учились дети и читали по складам строчки, о существовании которых я и не подозревал. Тем удивительнее, неожиданнее раскрылся этот сельский учитель на последних курсах института.

Однажды он пригласил меня в общежитие. У окна тесной студенческой комнатки стоял кинопроектор. На противоположной стороне была приколота простыня. Оказалось, что Карачобан уже несколько лет гонорары и большую часть заработка тратит на кинолентку, химикалии, запчасти к киноаппарату, на многое другое, без чего немислимо кинолюбительство, что ночи напролет он с двумя-тремя учениками обрабатывает отснятый материал, что он и оператор, и монтажер, и ведущий актер, и, наконец, директор студии «Бешалма-фильм», выпустившей с десяток художественных картин. Несколько киноновелл было показано и мне. Не скрою, меня захватили эти самодельные, во многом наивные и уж, конечно, несовершенные ленты какой-то своей глубокой искренностью и правдивостью. Вот когда я по-настоящему увидел пустынные степи вокруг гагаузских сел, одинокие акации, беленькие хатки, пыльные, широкие большаки, увидел все это так, как не могли мне показать опытные и профессиональные кинохроникеры.

Нельзя было не залюбоваться, как этот низкорослый, замкнутый студент загорался, когда рассказывал о новых планах и новых замыслах, как он был преисполнен вдохновенной любви к землякам, готов был им служить денно и ночью.

Вот почему, получив верстку первого поэтического сборника Дмитрия Карачобана, так и названного «Первое слово», я не поморщился от такого, казалось бы, стереотипного названия, а наоборот, во всей полноте и свежести ощутил слово «первое». В бесписьменной многие века истории гагаузов это был один из первых сборников стихотворений и несен.

...Защита дипломной работы — сборника стихотворений «Первое слово» — прошла успешно. Д. Карачобан уехал к себе в село Бешалмы все в том же помятом костюме, с сеткой учебников и кинолент студии «Бешалма-фильм».

Недавно, просматривая старые подшивки журнала «Днестр», я наткнулся на стихи Д. Карачобана. Одно из

стихотворений называлось «Расти, акация», и я вспомнил не только придорожные акации в Буджакской степи, но и самого поэта, который посвятил этому неприметному, скромно зеленеющему деревцу убежденные строки:

Расти, акация,
Стройна и высока,
Достань, акация,
Вершиной облака.

ВСТРЕЧА С ПОСТОЛАКИ

Восхищение — это хорошее вино
для благородных умов.

Р о д е н

Нас шумно приветствовал седой человек с синими-синими глазами, непривычными у молдаванина. Заговорил он быстро и охотно, как будто давно ждал гостей. Это был художник Иаким Николаевич Постолаки. В его мастерскую мы зашли, как говорится, на огонек. Однако было у нас и другое желание — познакомиться с такими сторонами художественной жизни Кишинева, каких мы не могли знать и не знали раньше и, конечно, в первую очередь понять, вникнуть в сокровенную суть народных ремесел, народного искусства вообще.

Мастерская художника прикладного искусства больше всего похожа на мастерскую, на рабочее помещение, а не на парадную студию модного ваятеля или живописца.

Художник-прикладник — вечный экспериментатор, а его мастерская — лаборатория, в которой проводятся опыты, сравниваются отдельные образцы, отбрасываются одни, принимаются другие, удовлетворяющие взыскательным требованиям их создателя. На полках вдоль стен стояли в довольно-таки хаотическом нагромождении фигурки из глины, из дерева, из древесных корней: кувшины, украшенные геометрическим орнаментом; плоски (молдавские плоские фляги для вина) с цветными ангобами; изделия потечной глазури и глазури восстановительного огня...

От оформления городских парков, от монументальных панно и цветных витражей до изящных безделушек, до памятных сувениров — во всем должна быть выдумка художника-прикладника, высокий эстетический вкус и,

главное, чуткость к веяниям современности, верность национальным традициям родного народа.

Взять молдавское ковроделие.

Старинный молдавский ковер отличается большой ажурностью рисунка, а также изысканностью цветных фонов: от лазурно-голубого и синего до коричневого, малинового, красного цвета — таков фон в молдавском ковре, довольно свободный, редко заполненный орнаментом. Активную сюжетную роль в ковре-килиме играет широкая кайма, заполненная геометрическим, реже — сильно стилизованным растительным орнаментом. Современному художнику необходимо обладать большим вкусом и тактом, чтобы не нарушить этих устоявшихся принципов, этих традиционных ритмов молдавского ковра. Иаки́м Николаевич Постолаки осторожно и художественно обоснованно ввел в эскизы мотивы, которых не знали ткачи прежних лет: для ковра «Кормовые травы» он взял стилизованные элементы кормовых трав — листья, стебли, соцветия — создал ковровое изделие, которое, оставаясь верным народным канонам, было его оригинальным творением, его вкладом в народно-прикладное искусство наших дней.

А сколько было раздумий, когда создавались эскизы национальных костюмов для молдавского ансамбля «Жок»!

— Костюм — это наш язык, — рассказывал Иаки́м Николаевич. — Мы можем им говорить, можем высказывать свои чувства, как балерина высказывает их танцем, музыкант — мелодией. Национальное молдавское убранство сдержанно и собранно: в нем преобладают белые тона, даже вышивка на белой сорочке может быть выведена белым шелком. И только безрукавка, которую вышивает девушка своему возлюбленному, — богата орнаментами и ярко расцвечена. Ведь девушка вкладывает в этот как будто бы «немой» язык узоров свою любовь, нежность, преданность и страстность. И после этого мне говорят, чтобы я учил народ красоте, живописной выразительности?! Да мне, немолодому уже человеку, век свой ходить у народа в подмастерьях, век свой изучать творенья простых сельских мастеров и мастериц.

Постолаки помолчал. Его синие глаза горели прежним воодушевлением, а все мы, присутствующие в этой мастерской, были не только полностью согласны с его речами, но и разделяли его заботы и огорчения. Мне же лично старый художник все больше и больше нравился своей одержи-

мостью, добродушием и полной откровенностью. Чтобы как-то скрасить минутную заминку, я обратил внимание на майоликовые статуэтки. Среди них выделялся «Древогиб», отмеченный критикой на московской выставке 1960 года. Изумителен был малыш молдаванин в остроконечной бараньей шапке, такой забавный и серьезный, что на эту крохотную фигурку невозможно было смотреть без легкой улыбки.

Вообще многие майолики Иакима Николаевича заражают добродушной веселостью, лукавством, без которых скучнее было бы жить на свете. Насколько я успел заметить — это в характере художника. Да и сам Постолаки говорил, что одна из задач скульптора малых форм — доставлять людям радость, согревать их сердечной теплотой. Лишь бы, конечно, эти изящные статуэтки, памятные сувениры были произведениями искусства, развивали эстетический вкус людей, а не портили, не снижали его.

— А майолики у нас делаются по поточному методу — и молдаванку с виноградом трудно отличить от украинки со снопом пшеницы, а все вместе далеко, очень далеко от того идеала, который я вижу в одной работе Веры Мухиной. Хотите знать в какой? — Мы промолчали. — Когда-то, еще будучи молодым человеком, я жил в Бухаресте. В 1937 году мне довелось принять участие в оформлении румынского павильона на Всемирной выставке в Париже. По условиям того времени мы мало знали о Советском Союзе — румынская реакционная печать писала неправду о великой стране. И вот я никогда не забуду неожиданного, окрыляющего впечатления, которое на меня произвел советский павильон, и прежде всего вознесенная ввысь, напряженная, стремительная скульптура Мухиной «Рабочий и колхозница». Там же на выставке мне пришлось встретиться с Иваном Мештровичем. Он видел изваяние Мухиной на павильоне СССР, и позже мне передавали его слова, которые звучали примерно так: «Друзья мои, верьте мне, — будущее за этим искусством!» — Здесь Иаким Николаевич как будто спохватился и добавил: — Да знаете ли вы Мештровича?

Мы были вынуждены признаться, что мы ничего толком не знаем об этом художнике. Тогда Постолаки полез куда-то в шкаф, порылся там и через некоторое время извлек большой альбом фоторепродукций Ивана Мештровича, изданных в Загребе в 1961 году.

— Теперь нам легче будет говорить с вами, — сказал старый художник, раскрывая альбом.

Мы присели к столу, предчувствуя, что сейчас нам будет открыто нечто важное и памятное. И мы не ошиблись в этом. За каждым словом Постолаки — выношенные мысли, долгие раздумья и, конечно же, мечты. Да, и мечты художника, которым не всегда суждено сбываться, но они озаряют его повседневный быт, заставляют снова и снова мучительно оценивать все сделанное, бросать начатое, возвращаться к нему, снова задыхаться от жажды, от желания совершить что-то такое, что никогда прежде ему не было по силам совершить.

— Дело не в библейских сюжетах, — начал Иаким Николаевич, — не только в образах мучеников и апостолов православной церкви. Дело в том, что скорбь, страдание — источник поэзии Ивана Мештровича. Однако он же, Мештрович, как мало кто другой, передал материнскую ласку, всепоглощающую материнскую любовь, выразил святость материнства. Взгляните на портрет его матери, вчитайтесь в эти сдержанные и строгие линии, в эту скупую лепку — и вы ощутите прилив необычайной нежности к простой крестьянке в простом, низко повязанном платке. Или вот мрамор «Мать оберегает дитя». Взгляд, устремленный вверх, исполненный мольбы, надежды, ожидания, испуга, — взгляд матери, на коленях которой распростерто беспомощное, обнаженное тельце ребенка. Таким человек вступает в жизнь, таким беспомощным и беззащитным он будет казаться матери всегда. Поэтому-то и вложил сложнейшую гамму переживаний Мештрович в поворот головы молодой женщины, в ее глаза, устремленные вверх. Таким, по-моему, и должен быть язык современной пластики: не поучать, не наставлять должен ваятель, а кричать обо всем горе человечества и всей радости его. Сейчас я открою репродукцию его знаменитого «Распятыя». Вот они — эти чудовищно распухшие ступни Христа, эти тяжелые болты, вбитые в ладони, это изможденное, истрадавшееся тело — оно вопиет о физической боли, оно живой упрек всем нам. Иван Мештрович не раз и не два обращался к образу Христа и всегда говорил не о его духовной, а о его телесной муке. Здесь, в деревянной скульптуре, Мештрович остался верен самому себе. Теперь вы понимаете, почему Иван Мештрович сказал о скульптуре Мухиной, что за этим искусством — будущее.

...До полночи продолжался разговор об искусстве в мастерской Иакима Николаевича Постолаки. И когда я теперь думаю об облике молдавского мастера, я обращаюсь к учителю современных ваятелей — к Родену:

«Мир будет счастлив только тогда, — писал Роден в «Завещании», — когда у каждого человека будет душа художника, иначе говоря, когда каждый будет находить радость в своем труде».

ДУНАЙ ТЫ МОЙ, ДУНАЙ

Всю жизнь меня тянет к водному простору — будь это родное Кубеноозерье, ненасытная для глаз голубизна Байкала, медлительная Сухона или бурная Ангара. В дальних и близких командировках я стараюсь как можно быстрее выбраться из городской суеты, пройти к воде, к пристаням, лодкам, теплоходам, баржам, плотам, к свежему понизовому ветру, к тому особому миру, который всегда бодрит и радует бесконечным разнообразием и ширью.

«Я никогда не чувствовал себя одиноким у реки», — заметил как-то Хемингуэй, и с юношеских лет я познал на себе истинность этих слов. Каменные строения без реки, без водной глади кажутся мне какими-то однообразными, скучными. Они не остаются в памяти, вернее, не оставляют в душе столь сильный отпечаток, как города и селения, в которых есть какая-никакая набережная, какой-никакой причал, какая-никакая рыбацья лодка и которых, к счастью, не счесть на нашей земле. Но сильнее и неотвратимее всего меня влекут, конечно, великие водные пути России и Сибири. Ожидание встречи с ними доставляет не меньше переживаний, чем встреча с чем-то давным-давно загаданным, заочно любимым, но знакомым лишь понаслышке.

Как славно за меня, за него, за всех нас, впервые подъезжающих к матушке Волге, сказал Александр Твардовский:

И пыл волнения необычный
Всех сразу сблизил меж собой,
Как перед аркой пограничной
Иль в первый раз перед Москвой.

В передаче этого необычного волнения, этой светлой потрясенности поэт достигает исключительного мастерства, он ловит и закрепляет в слове мимолетное движение души, ту смесь радости и опасения, которая возникает в сердце долго любившего и долго ожидавшего человека,

— Она!
— И тихо засмеялся,
Как будто Волгу он, сосед,
Мне обещал, а сам боялся,
Что вдруг ее на месте нет.

Но среди всех рек нашей Отчизны едва ли не самой зазывной, сладостно-ожидаемой для меня была встреча с Дунаем.

«Ах, Дунай мой, Дунай», — пела деревенская застольница в моем приозерном северном селе. Песня подмывала встать из-за стола, топнуть так, чтобы зазвенела посуда в «горке», чтобы закачалась семилинейная лампа под потолком. И хотя значение слов песни давно стерлось, потеряло прелесть новизны, было в этом сочетании «Дунай мой, Дунай» что-то разгульное, размашистое, что по душе русскому человеку, что живет в нем искони и неизменно тянет его в чужедальнюю сторонущу.

Там, за синими лесами, за широкими степями, протекал этот Дунай. Мало кому из моих земляков-кубеноозеров доводилось поглядеть на его вольные воды, испить его воды. Только мой дед, бывший ополченец, раненный штыком в плечо на самом шипкинском перевале, смутно помнил переправу через Дунай, который всю жизнь он называл на старинный манер «Дунаеви».

Это слово позднее я услышал на берегах Дуная, в Вилкове, а еще позднее прочитал в исторических хрониках, где говорилось, что славянское племя угличей — жителей угла — «сеяху по Днестру, присеяху к Дунаеви».

С тех незапамятных времен и летит молва о Дунае — реке вольной, рыбной и благодатной.

Пассажиров ночного поезда Кишинев — Рени ожидала «Ракета». С остановкой в Измаиле она следовала до устья Дуная, до городка Вилкова, о котором я был наслышан в Кишиневе. Говорили мне, что это «дунайская Венеция», что весь городок изрезан каналами, по которым наподобие венецианских гондол снуют рыбацьи лодки. В воображении сразу же возникало нечто пышное, диковинное, похожее на декорации к комической опере Оффенбаха «Сказки Гофмана» или оперетте Штрауса «Ночь в Венеции».

А Дунай работал буднично и неторопливо, он подымал на плечах караваны барж и самоходок, гнал вниз по течению речные трамвайчики, пенил усы впереди быстроходных катеров.

Не был он ни светлым, ни голубым, ни оперным, ни опереточным, а был серым от ила, прогретым солнцем и таким реальным, каким и положено быть земным рекам.

Берега его обросли зеленой кипенью ветел, и, кроме этих ветел да редких пограничных вышек, ничто не оставляло взора. Временами «Ракета» начинала подпрыгивать, как будто с ходу налетала на кочкастое поле, вода гулко ударяла о днище, но через мгновение мерный рокот дизелей снова заполнял пассажирский салон, а берега текли с обеих сторон все так же однообразно и неостановимо.

Перед двухэтажным дебаркадером с приметной надписью «Вилково» крылатое судно сделало широкий, щегольской разворот и встало к причалу.

Вместе с толпой пассажиров я вышел на портовую площадь.

По преданию, первыми поселенцами Вилкова, обживавшими плавни и непроходимые камыши, были запорожские казаки. Ушли они на Дунай после того, как Екатерина II разорила Запорожскую Сечь, понастроили здесь куреней, стали промышлять охотой и рыбачеством. Потом в запорожских куренях и хатках-мазанках стали селиться пришлые люди — кто бежал от барщины, кто от рекрутчины, кто от религиозных притеснений. Особенно много было староверов. Они-то и придали Вилкову тот характерный русский облик, который сохранился здесь по настоящее время.

В прошлом веке вилковский посад не раз выгорал дотла, не раз местные жители спасались от наводнения на лодках и челноках все в тех же плавнях. Но хуже пожаров и наводнений были для вилковцев царские чиновники, которые добирались-таки до дунайских гирл из Аккермана и Килии.

Судебные архивы хранят одну горькую повесть о безвестной сироте Анне, которая бежала от крепостной неволи откуда-то из Малороссии. Здесь, в Вилкове, ее приютили местные жители братья Мариновы. Вилковец Иван Гуляев, знакомый Мариновых, женился на Анне. У них уже были дети, был свой дом, когда в 1849 году, через восемь лет после всех этих событий, возникло дело «О скрывающейся в бегах девице-сироте Анне». Иван Гуляев с женой и детьми бежал за Дунай, в независную Туретчину, дом

Мариновых за соучастие в преступлении был продан, а сами они выселены из посада.

Но приток беглых не уменьшался, и легенда о земле обетованной, затерянной где-то в устье Дуная, долго жила среди крестьян.

...24 августа 1944 года наступающие части Советской Армии освободили город Вилково и, наведя переправу через Дунай, ушли дальше, на юго-запад. Над Вилковым взвился красный флаг.

Первое, что я решил про себя в Вилкове, никогда не поддаваться избитым сравнениям и не именовать этот тихий городок Килийского района Одесской области «дунайской Венецией». В таких сравнениях есть пышность и претенциозность, а Вилково хорош сам по себе, он хорош как раз скромностью, даже домашностью: каждый клочок земли здесь отвоеван у плавней, обработан поколениями вилковцев. И теперь можно часами бродить по узким — в две доски — кладкам, сидеть под тенью серебристых ветел, образующих над каналами сплошной коридор, переходить с одного горбатого мостика на другой, обгонять медленно плывущие лодки, груженные ракушечником и камышом, и в конце концов выйти прямо в густые камыши или к Дунаю, вдоль которого растут все те же серебристые ветлы и вправо и влево тянутся деревянные тротуары. Каждый твой шаг будет сопровождать шлепанье лягушек, мерное поскрипывание кладок на высоких опорах, любопытные взгляды прохожих. И только рыбаки, которых здесь великое множество, не будут обращать на тебя никакого внимания.

В этом маленьком городке ловят все. Здесь не увидишь девчонок, которые бы играли в классы или прыгали через веревочку: девчонки нянчат младших братишек и сестреночек своеобразно — дают им в руки камышовую удочку и с такой же удочкой садятся сами на кладках, на свайных причалах, на пороге своего дома. Мальчишки не расстаются с бреднем. Старухи ставят паруса, плывут осматривать переметы. Взрослые рыбаки уходят в море, служат мотористами, работают на местном рыбзаводе. Особенно страдная пора в Вилкове — весна, когда идет по Дунаю знаменитая дунайская сельдь. В этом отлове сельди есть что-то праздничное, как бывает праздничным первый день сенокоса в деревнях.

Когда я проходил по центральной улице Вилкова, частью мощеной, частью асфальтированной, я обратил внимание на небольшие группы рыбаков. Было воскре-

сенье, и местные жители, следуя давней-давней традиции, вышли на гулянье «в город». Шумел маленький базарчик. К автобусной станции подходили рейсовые автобусы. Городок жил своей размеренной, спокойной жизнью, и в этой его размеренности и в этом спокойствии было отрадно чувствовать себя своим, уже успевшим оглядеться и даже как-то привыкшим ко всему человеком.

Хорошо просыпаться от sireны речного трамвайчика, выглядывать в окно номера, похожего на корабельную каюту, и видеть далекий, заросший кустарниками берег. Хорошо еще и еще раз напоминать себе, что ты на Дунае и что тот, другой, берег — румынский.

Хорошо мастерить нехитрую снасть, называемую «закидушкой», доставать у механика катера железную гайку, прилаживать крючки, копать червей, а потом день-деньской сидеть возле старой ветлы, закатав брюки, опустив ноги в теплую, мутную воду.

Хорошо думать, что ты уже разделался со всеми делами, нанес официальные визиты, побывал у председателя райисполкома, записал беседу с ним, узнал, что в ближайшие годы Вилково преобразится, что будут здесь построены бетонные набережные, воздвигнут стадион, упорядочена застройка, завезен строительный материал.

Хорошо наконец просто почувствовать себя человеком, отпускником, как тот приезжий, что сидит в десяти шагах от тебя на кладках и время от времени таскает желтых сомят.

Ты предоставлен теперь самому себе, и тебе вовсе не обязательно отмечать почти машинально, как он нетерпеливо смотрит вдоль кладок, как он, видимо, ждет прихода женщины, которая запаздывает, как она садится рядом с ним и улыбается его неловким движениям, когда он выбирает леску. Нет, она не повисает на его плече, не заглядывает пристально в глаза, а просто сидит рядом с ним.

И напрасно ты успокаиваешь самого себя, напрасно твердишь про себя как заклинанье, что, мол, «какое дело мне до радостей и бедствий человеческих, мне, странствующему офицеру, да еще с подорожной по казенной надобности!..»

Твоя книжная премудрость мало помогает тебе.

Когда она, лучисто улыбаясь, оглядывается вокруг, больше всего тебе хочется, чтобы в этот момент леса тонко

зазвенела от поклевки крупной рыбы, чтобы женщина подбежала к тебе и подивилась твоей невиданной удаче.

Но соседи встают и уходят, улыбочивые, оживленные, им, как и всем влюбленным, нужно одиночество.

Ты будешь видеть их силуэты на далеком песчаном откосе, в сухом и алом блеске заходящего солнца. Ты будешь видеть их забредшими по колено в воду, стоящими рядом, неразлучными, не расторжимыми никакими силами на свете.

А Дунай, как будто даже выпуклый от половодья, будет катить волны мимо них, мимо тебя, мимо вилковского дебаркадера, как-то разом опостылевшего тебе, и медленно терять золотистый блеск, густеть возле низко наклоненных ветел, отливать тусклой вороненой сталью, чтобы потом, глубокой ночью, разлиться безбрежной черной зарею. И когда крупные звезды разом высыпают на небосклон, когда по черной заре поплывут красные, зеленые, синие огоньки кораблей, тебе откроется теплая, сокровенная красота Вселенной.

СОДЕРЖАНИЕ

ЗЕМЛЯ ЗАВОЛОЦКАЯ

Земля Заволоцкая	7
Красная горка	10
Купола и ласточки	17
Память сердца	19
Чудесный город	22
Варашки	26
Ланчик	30
Сей добро	33
Страна Прометеев	36
Крека	39
Соколёна	48
Полет в грозу	52
Берег Олешки	55
Деревянная песня любви	58
Телеграмма	60
Мальчик	63
Чтобы она была такая...	67
В то хмурое утро	72

ДИОНИСИЙ

За монастырской стеной	83
Утешение Дионисия	91

ПИСЬМА С ДОРОГИ

Посвящаю Карелии	119
По следам Антикайнена	119
Поющий автобус	123
Кижы	126
О «Калевале»	129
О героях «Калевалы»	131
Серебристая рыбка — Айно	132
«Все земное в августе дорожке»	135
«Мгновенье» Роберта Винонена	137
Земля полна открытий	140
Признание в любви	156
Пушкин и Земфира	156
«Еще твоей молвой...»	168
В Юрченах	172
Расти, акация	175
Встреча с Постолаки	179
Дунай ты мой, Дунай	183

Валерий Васильевич

ДЕМЕНТЬЕВ

СПАС-КАМЕНЬ

Редактор В. М. Курганова

Художественный редактор Э. А. Розен

Технический редактор Т. И. Гончарова

Корректор Н. Н. Шизеева

Сдано в набор 20/VII-67 г. Подписано к печати 14/V-68 г. Формат бум. 84×108¹/₃₂. Физ. печ. л. 6,0. Усл. печ. л. 10,08. Уч.-изд. л. 9,82. Изд. инд. ЛХ-264. А06955. Тираж 50 000 экз. Цена 47 к, в переплете, Бум. № 2.

Издательство «Советская Россия». Москва, проезд Сапунова, 13/15.

Книжная фабрика № 1 Росглаволиграфпрома Комитета по печати при Совете Министров РСФСР, г. Электросталь Московской области, Школьная, 25. Заказ № 926.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Издательство просит отзывы об этой книге и пожелания присылать по адресу: Москва, Центр, проезд Сапунова, 13/15, издательство «Советская Россия».